

ISSN 0131-6044

РОМАН-16 ГАЗЕТА

(1166) · 1991

Михаил Алексеев

·
РЫЖОНКА

Василь Быков

·
ОБЛАВА





Михаил Николаевич Алексеев родился в 1918 году в селе Монастырском на Саратовщине. Там окончил семилетку. В 1936 году поступил в Атканское педагогическое училище, а в 1938-м был призван в армию, в которой находился до 1955 года. Всю Великую Отечественную войну был на фронте.

В декабре 1947 года в газете Центральной группы войск «За честь Родины» появились первые главы его романа «Солдаты», с которого и началась литературная деятельность М. Алексеева.

В 1955 году М. Алексеев был принят на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького и в 1957-м окончил их.

Вслед за романом «Солдаты» (1951—1953) выходят: «Вишневый омут» (1961), «Ивушка неплакучая» (1970—1975), «Драчуны» (1981), повести «Наследники» (1957), «Хлеб — имя существительное» (1964), «Дивизионка», «Карюха» и другие.

За романы «Вишневый омут» и «Ивушка неплакучая» М. Алексеев удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького, лауреата Государственной премии СССР.

В 1978 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

РОМАН-16

НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ

МОСКВА

ГАЗЕТА

(1166) · 1991

Основана в 1927 г

Михаил Алексеев · РЫЖОНКА

НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Жене моей Тане посвящаю

О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

Сергей Есенин

1

Рыжонка была ровесницей Карюхи, то есть считалась на дедушкином дворе старой коровой. К моменту раздела она пошла уже восьмым телком. Однако, в отличие от Карюхи¹, Рыжонка досталась нам не по несчастливо сложившемуся жребию, а по настойчивой просьбе моей матери.

Объяснить такой выбор можно разве лишь тем, что из трех снох почему-то именно ей, моей матери, было поручено свекровью раздавать юную Рыжонку, когда та разрешилась своим первенцем. Я употребил слово «почему-то» просто так, не подумавши. Между тем такое поручение было совершенно логичным. Мудрая восьмидесятилетняя Настасья по прозвищу Хохлушка, старшая свекровь для невесток, бабушка для Петра, Николая и Павла, а для нас, их детей, прабабушка, верховодившая над всем многочисленным семейством, давно приметилла, что Фрося, средняя сноха, как-то по-особому прильнула добрым своим и отзывчивым сердечком к рыжему, без единого иного пятнышка теленку, назвала его однажды Дочкой и звала так и теперь, когда для всех нас Рыжонка давно стала Рыжонкой, и никем иным.

Молодая корова, ставши матерью, спокойно подпустила Фросю к своему вымени и с непривычки лишь круто выгнула спину, отозвалась дрожью по всему телу, когда знакомые, не раз ласкавшие ее пальцы прикоснулись к набрякшим, до боли наполвшимся молозивом соскам. В такой момент первотелки обычно взбрыкивают, начинают сучить ногами, норовят даже боднуть, отшвырнуть доярку рогами, — в этих случаях чаще всего приходится связывать задние ноги строптивного животного, а потом, так вот, спутанной, и доят всю оставшуюся ее жизнь. Рыжонка же перетерпела первую дойку без сопротивления. Однако других женщин даже близко не подпускала к себе. Потому-то они страшно обрадовались, узнав, что Рыжонка уйдет на наше, а не на их подворье.

© М. Н. Алексеев, 1991.

¹ История этой лошади рассказана мной в повести «Карюха». (Здесь и далее примечания автора.)

И оказалось, что и тут судьба Рыжонки была близкой к судьбе Карюхи: как та, так и другая были весьма нежеланными для семейств дяди Петрухи и дяди Пашки, которым достались старшие дочери все той же Рыжонки, — они сами стали дойными, очень похожими на свою мать коровами, ходившими уже не первым и даже не вторым телком. Похожими и по цвету шерсти и по количеству, а также и качеству молока — оно было жидковато в смысле жирности, но зато его было много, что, кажется, куда важнее для семьи с бесчисленной детворой.

Разделение большой семьи, которую я и теперь еще мысленно называю дедушкиной, произошло в двадцать пятом году. И оно было неотвратимым, это разделение. И не только потому, что дедушкина пятистенка не могла поместить стремительно увеличивающееся ее население: три невестки, как бы вперегонки, чуть ли не ежегодно «приносили» по ребенку, а случалось, и по два сразу. Рекордсменкой была тетка Дарья, старшая сноха, которая к моменту раздела успела дать жизнь семерым человеческим существам обоего пола. У моей матери было четверо. У младшей снохи, тетки Фени, пока что две крохотных дочери, но она, кажется, была на сносях, готовилась наградить дядю Пашку, своего не очень-то трудолюбивого, избалованного с самого детства муженька. И когда число душ вместе с внуками перевалило за второй десяток, достигло, так сказать, критической отметки, когда неизбежно, как бы дедушка и его мать, наша прабабушка, ни старались предотвратить эту неизбежность, затевались поначалу слабые, а затем все набирающие силы и остроты стычки между снохами, а вслед за ними и братьями, — вот тогда-то глава родовой артели и вынес окончательное решение: пора. Пора разделяться.

Кажется, разумнее было бы это сделать на пяток лет раньше, но дедушка ждал, когда «вырастут» посаженные им загодя два дома, чтобы в них могли перебраться со своими женами и детьми старший и средний сыновья, Петр и Николай. Младший, Павел, как водится в сельском мире, оставался в отцовском, корневом, доме: ему надлежало не только унаследовать этот дом, но и покоить старость овдовевшего отца, да еще и бабушки, Настасьи Хохлушки, которая, кажется, и не собиралась перебираться на вечное поселение за гумы, где находилось кладбище.

Могут спросить, а как понимать вот это: дедушка ждал, когда «вырастут» посаженные им загодя два дома. Разве дома не строят, а выращивают, как, скажем, тыквы или подсолнухи? Можно, оказывается, вырастить и дом, была бы только на плечах твоих голова.

Как только у Михаила Николаевича (так звали дедушку, он был для меня и дедушкой и тескою вдвойне) вслед за единственной дочерью появились сыновья, он изготовил несколько сотен ветляных колышков, а по осени вбил их в землю на берегу никому не принадлежавшего лесного болота. Весною колышки очнулись, ожили, на их нежной коже проклюнулись зароды-

ши ветвей, и эти последние энергично, бурно устремились ввысь, по три, а то и более того стволов от каждого колышка. И были эти, уже как бы самостоятельные, стволы так прямые и стройные, будто чья-то невидимая, бережливая рука поддерживала их, не давая прогнуться в ту или иную сторону. Не одна грачиная стая пыталась образовать свою колонию на пышных вершинах молодых ветел, свить на них многоярусные гнездовья, но дедушка следил, чтобы этого не случилось, отгонял подальше крылатых крикливых пришельцев. Когда же какой-нибудь паре удавалось свить гнездо, дедушка поручал старшему, наиболее отважному внуку вскарабкаться на дерево и безжалостно разрушить птичье сооружение. Таким образом ветлы были сохранены и через пятнадцать лет от роду уже имели полное право называться строевыми. После этого они были спилены, отвезены в определенные заранее места, там освобождены от лыка, то есть ошкурены, лежали года с два на специальных подставках, высохли и приготовились к распиловке. Так из тонких, малюсеньких колышков выросли сразу два дома. Оставалось лишь положить под них краеугольные камни, раздобыть (что было нелегко) для самого первого нижнего венца несколько дубовых бревен и уже на них возводить избу, привычную для русских деревень пятистенку.

Годом раньше нас перебрался на хутор, в отдаленную часть села, в собственную хату дядя Петруха с детьми и женою. Перебрался явно до срока, потому что ни сама изба, ни двор при ней были далеко не достроены, не завершены. В задней комнате, например, не было пола, поскольку для него не хватило досок, а двор обозначен лишь тощеньким плетнем, внутри же не выросло пока что ни сарая, ни единого хлева, ни загон для овец, так что доставшаяся этой семье скотинешка по-прежнему оставалась на дедушкином попечении, в его же дворе. Ни корова, ни овцы, ни куры, ни поросенок не подозревали, конечно, что теперь они тут нахлебники, приживалки, стало быть, лишние и в этом качестве терпеть их долго не будут. Знал про то и дядя Петруха и собирал помочь за помощью, чтобы и на его новом дворе появились какие-никакие постройки. В их возведении самое активное участие принимала Буланка, Карюхина дочь, унаследовавшая от матери и выносливость, и неприхотливость к кормам. Она не только привозила лес, солому, камни, но и ходила по кругу, месила глину, чтобы пришедшие на помощь женщины сейчас же начали обмазывать стены хлевов.

Само собой разумеется, что и мы все, родственники, начиная от деда и кончая мною, находились с утра до позднего вечера тут же и как могли помогали дяде Петрухе, который так измаялся, что всегда веселые, приветливые его глаза отуманились, провалились куда-то, а черная борода взмокла и, не расчесанная, трепыхалась неряшливыми клочьями. Даже шутки-прибаутки, которыми обычно он подбадривал себя и всех, кто трудился рядом с ним, как-то поувяли, утратили сочность и ядреность и все чаще заменялись ворчливой бранью по адресу, главным образом, жены, взрослых сыновей и дочерей. Как бы там, однако, ни было, а двор отстраивался и в конце концов обрел бы надле-

жащий ему вид, лет этак через пяток, но подоспел год тридцатый...

Впрочем, о нем речь впереди. Мне же в самую пору вместе с отцом, братьями и сестрой, а также с Карюхой, Рыжкой и со всей прочей живностью перебраться на наш собственный двор.

Дедушка хоть и не торопил нас, но был бы, конечно, не против, ежели б это наше переселение случилось побыстрее.

Дедушка, конечно, понимал, что и после разделения у него-то самого забот не убавится. Взрослые дети их лишь добавляют, этих забот. За сыновьями, хоть и обзавелись они бородами и усами да собственным потомством, по-прежнему нужен глаз да глаз. В особенности ненадежен был как раз отделившийся первым Петр Михайлович, которого все мы, его племянники и племянницы, не называли иначе как дядя Петруха. Будучи мужиком в высшей степени общительным, добрым, услужливым, очень веселым, способным (что ценилось его дружками в первую очередь) раздобыть проклятую сивуху хоть из-под земли в любое время суток, он был более чем желанным всюду, где затевалось большое, малое ли гульбище. В общей семье такой дяди-Петрухин «недочет» не приносил особенно ощутимого урона, поскольку не исполненное им какое-то дело исполнялось другими братьями, а чаще всего — отцом, нашим дедушкой. Теперь, когда Петр Михайлович оказался во главе отпочковавшегося самостоятельного семейства, его пристрастие к матушке сивухе и мало утешительная привычка большую часть времени проводить не дома, а в компании беззаботных выпивох, ничего хорошего не сулили ни ему, ни его многодетному семейству. Правда, старшие сыновья Иван да Егор, а также дочери Любовь и Мария были взрослыми, но это лишь усиливало дедушкины тревоги: Петр Михайлович, переложив все дела на сыновей и дочерей, сам может пуститься во все, что называется, тяжкие.

И средний сын Николай Михайлович, наш отец, не мог дать полного успокоения дедушке, хотя и был самым любимым из всех его чад. Дедушка вовсе был не уверен, что, отделившись, Николай окажется прилежным хозяином дома. Не было такой уверенности прежде всего потому, что, будучи грамотеем (в армии служил ротным писарем), он в основном будет секретарствовать в сельсовете, а дом и двор со скотиной оставит на попечение безропотной, покорной ему во всем решительно жены, — сыновья пока что были очень малы: старшему Александру тринадцать лет, среднему Алексею — десять, ну, а мне, младшему, всего-навсего семь. Впрочем, есть у нас еще и сестра Анастасия, но она заневестилась, больше думает о том, как бы поскорее прошел день и на смену ему пришел вечер, суливший желанную встречу с милым. Приметил дедушка (да как тут и не приметить, когда о том всюду судачила чуть ли не вся женская часть села), приметил, стало быть, что неспроста его средний сын, то есть наш папашка, все чаще стал приходить домой на рассвете, а его жена Ефросинья, то есть наша мать, обливаясь слезами, беззвучно плакала. Так начальная ее нелюбовь к суженому оборачивалась жестоким отмщением последнего, так все большее и явст-

веннее обозначалась глубокая рана, которая будет мучить всех нас на протяжении многих лет. Вспомнил ли мудрый старик свои же слова, сказанные сыну при женитьбе: «А ты спросил, Микола, любит ли она тебя?.. Гляди, сынок. Коли не любит, ох, долог покажется вам век ваш!» Теперь выходило, что сказанное им оказалось пророческим.

Есть у народа пословица, которая считается особенно мудрой: «Яблоко от яблони недалеко упадет». История нашего дедушки и его сыновей будто нарочно создана, чтобы усомниться в непререкаемости этой пословицы. Дедушкины «яблоки» падали от него так далеко, что можно было бы вполне принять их за чужих. Дед Михаил не пил, не курил, был в высшей степени целомудрен (не зря же его избрали ктиторм, церковным старостой), а по части трудолюбия принадлежал к тем, о ком говорят: «И минуты не посидит без дела». Так вот: ни одна из этих дедушкиных добродетелей не перебралась по его невидимой генетической ниточке к сыновьям. Они как бы решили — сообща или по отдельности — наверстать для себя то, чего «недобрал» отец. Может быть, тут действует некая закономерность: известно, например, что даже у самых добропорядочных священников нередко рождаются сыновья, к которым каким-то непостижимым образом приобщаются все мыслимые и немыслимые пороки. О таком отпрыске люди обычно говорят в крайнем удивлении: «И в кого только он уродился, такой?..» От нашего дедушки никто ни разу не слышал бранного слова, а два его чада, Николай и Павел, были страшными матерщинниками, — и в кого только они...

Словом, было о чем подумать дедушке... Он мог утешиться лишь тем, что оперившиеся птенцы его улетают из родного гнезда не бог весть куда, а остаются, как и прежде, под его строгим наблюдением, что старшинство, нравственное начало будет еще долго при нем, а три новых семьи, выросшие из одной, не более чем ветви большого, пускай стареющего, но еще очень крепкого древа. Как бы там ни вольничали заматеревшие дети, но они должны помнить: ветви дерева не могут быть мудрее его корней.

2

Дяди-Петрухина изба строилась (в сущности так и недостроилась) в течение трех лет. На возведение нашей, вместе с хлевами, погребом, сараем и амбаром ушло без малого четыре года. Но сказать, что наше новое подворье к этому сроку обрело сколько-нибудь законченный вид, значило бы впасть в непростительное преувеличение. Я уже говорил однажды, что мой папашка принадлежал к известной породе русских мужиков, которые столько же талантливы, сколько и ленивы. Фантазия у них пылкая, голова светлая после доброго похмелья, руки в высшей степени умелые (могут смастерить любую вещь), горячо берутся за любое новое дело, но никогда, или почти никогда, не доводят его до конца. Когда такое случается, скажем, с граблями, вилами, лопатами и прочей мелочью, — это еще полбеды. Но ведь то же самое произошло с нашим до-

мом. Мы поселились в нем, когда конёк крыши просвечивался во всю длину. Отец уверял нас, что оставил этот просвет с тем, чтобы покрыть его не размятой соломой, а тонкими, туго стянутыми снопами: будет, мол, и красиво, похоже на петушиный гребешок, с которого дождевая вода будет быстро и свободно скатываться вниз. Оно, пожалуй, так бы и было, воплоти хозяин свой блестящий замысел в жизнь; может быть, тогда перед нашими глазами явилась бы не изба, а совершенное художественное произведение. В действительности же кровля над бедной нашей хатой так и осталась с прорехой, через которую весенне-летние, в особенности же осенние дожди легко проникали сквозь потолки в обе комнаты, так что матери приходилось то и дело собирать все тазы и ведра, расставлять их на полу в разных местах, а нам внимать отвратительной мелодии падающих там и сям, а то и за наши воротники водяных капель. Изба стояла пока что без сеней, в нее входили прямо со двора, через две ступеньки крыльца. Сени, даже не сени, а узкий коридор отец прилепил к выходящей во двор стене, наскоро прикрыл его чем попало, да так неразумно, что вода, стекающая с крыши дома, попадала внутрь коридора. Сообразительный от природы, батька наш в данном случае не додумался подвести коридорную кровлю под избяную — тогда сбегаящая сверху вода продолжала бы свой путь и падала бы где-то во дворе.

Чуть больше повезло скотине. Для нее в один ряд были построены три хлева. Крайний слева назначался Рыжонке, средний, самый просторный, Карюхе, крайний справа для овец, к нему вплотную примыкал плетеный сараюшка — в него будут складываться кизяки для топки печи. Крыша же над всем этим рядом была одна из толстого слоя умело выложенной соломы, так что ни единой капли дождевой воды не проникало внутрь помещений. Ну, а где же будут обитать в зимнюю пору куры и свинья? Увы, для них ничего не было построено во дворе. Летом они ночевали на плетнях (куры) и под плетнем (свинья), ну, а зимой перебирались к Рыжонке, самой смирной и доброй среди обитателей двора. Только она одна могла потесниться. Хавронья еще загодя выбирала себе уголок поуютнее, натаскивала туда свежей, золотистого цвета, соломы, тщательно переминала ее зубами и ногами, готовила таким образом гайно¹, обживая его еще до наступления больших морозов. Она была чистюля, наша Хавронья, следя, чтобы хозяйка хлева, давшая ей кров, не уронила свою «лепешку» на это самое гайно, а что еще хуже — на его обительницу. Следила и, гневно повизывая, угрожающе урча, больно подталкивала Рыжонку под брюхо своим жестким пяточком. Поскольку лев был без потолка, куры вместо нашествия устраивали на перерубах, то есть на матках строения, некоторые на палках, воткнутых для них нашим отцом по бокам крыши. Здесь же к одной из стен подвешивалось с весны и до осени несколько больших гнезд, свитых для нашего двора дедушкой из туго скрученных, тонких жгутов плавки², чтобы куры неслись в них, а не сорили яйца

где попало под плетнями и за плетнями в дремучих зарослях горького лопуха и крапивы, а то и под амбаром. Для приманки поначалу в гнездо помещалось искусственное, что ли, яйцо, некий муляж, кусок мела, выточенный также дедушкой по форме куриного яйца, — у нас его называют подкладышем. Все несушки охотно «клевали» на эту приманку. Все, кроме Тараканницы. Эта шельма и видеть не хотела громоздкого, неуклюжего соломенного сооружения, а неслась по своему усмотрению в таком месте, которого даже я, считавшийся домашним следопытом, отыскать не мог, хотя и очень старался. Рискуя набраться куриных вшей, заползал на брюхе даже под амбар, обнаруживал там иногда два-три яйца, но они были скорее от других кур, находивших там убежище в жаркий день, но отнюдь не от Тараканницы. Мать страшно сокрушалась, в минуты гнева (чрезвычайно редкие для нее) готова была опустить топор над непокорной головушкой Тараканницы, но все-таки не делала этого. А кто же, думала она, будет тогда истреблять тараканов и мокриц, которых разводилась тьма-тьмушая в расщелинах никогда не просыхающего по известной причине пола, — доски с множеством этих отвратительных тварей специально для Тараканницы выносились во двор, и там бойкая курица расправлялась с ними за какую-нибудь одну минуту. Об этом-то и вспоминала мать и не приводила в исполнение свой суровый приговор над Тараканницей. А когда в положенный срок наша Тараканница из потайного своего места выводила десятка полтора совершенно одинаковых, шустрых, вылупившихся из ее собственных яиц цыплят, от неожиданной радости мама готова была расплакаться, тотчас же забыв о всех грехах своенравной курицы. Позже мне удавалось все же отыскать место, где хитрунья откладывала яйца, — было удивительно, что среди них не обнаруживалось ни единого «болтуна»¹, а в гнезде, в котором наседка высиживала яйца от разных кур, их насчитывалось по нескольку штук, к большой досаде нашей матери. У Тараканницы же число выведенных ею цыплят всегда равнялось числу отложенных яиц, — вот что значит сохранить за собой хотя бы частичку свободы и пожить какое-то время по законам природы! Хорошо, ежели б мы, люди, присвоившие себе право главенствовать над всем сущим на земле, время от времени задумывались об этом...

Утепленная душевно, исполненная чувства благодарности, мама заманивала Тараканницу с ее пискливым потомством в избу и угощала, отдельно от остальных кур, пшенной кашей. Не прогоняла ее, не размахивала веником и тогда, когда Тараканница, не удовлетворившись кашей, взлетала на посудную лавку и бесцеремонно шарила там в поисках чего-нибудь повкуснее. «Ну, милая, будя уж, — в конце концов говорила мать ласковым голосом, — надо и совесть иметь. Пора во двор...»

Тараканница спрыгивала вниз и, недовольно квохча, нехотя направлялась к раскрытой для нее и для ее выводка двери.

¹ Гнездо для свиньи.

² Обмолоченная цепами, но не смятая ржаная солома.

¹ Неоплодотворенное яйцо. (Какое точное и многозначительное название; не правда ли?!)

Ну, о Тараканнице покамест довольно. Надобно же представить ежели не всех, то хотя бы некоторых членов семьи, которой полагалось жить во дворе и исполнять там пускай не главные, как, скажем, у Карюхи и Рыжонки, но тоже очень важные роли, и было бы в высшей степени несправедливым считать их исполнителей статистами.

По дележу, по числу душ в семье, нам досталось еще шесть овец, одна старая, две перетоки¹ и три ярчонки, как называла их наша мать. Этим последним предстояло еще стать овцами, — только зимой от них можно было с определенной долей оптимизма ожидать первого потомства: от пастуха, имеющего дело с двухтысячным стадом, нельзя было узнать, покрыты наши ярчонки или тоже на следующий год будут перетоками. Таким образом лишь от трех овец будет прибавление. Старая же, по кличке Коза, как обычно, принесет двойню, ну, а ее дочери-двушлетки пускай по одному ягненку, а коли пойдут по материнской линии, глядишь, и по два.

Коза, которая вовсе не коза, а овца, заслуживает того, чтобы сказать о ней особо. Своей кличкой она обязана была тому, что в отличие от большинства овец носила на своей гордой, чуток даже надменной, высоко поднятой голове длинные, загнутые, словно бы специально заостренные на концах рога, которых очень побаивались Хавронья и Жулик, поскольку им не раз случалось познакомиться с ними, — получив от Козы острастку, они, как и все во дворе, относились к ней с почтением, в том числе и Карюха, которой, вроде бы, бояться было нечего: ее оружие во много раз сильнее и грознее овечьих рогов. Помимо внешности, было у старой овцы и другое, что роднило ее с самым своим нравным и недисциплинированным домашним животным, с козю, значит. Наша Коза на пастбище никогда не останется внутри стада ли, паче того, позади, а обязательно продерется вперед, к свежей, не потоптанной тысячами овечьих копыт и непощипанной траве, увлекая за собой свое семейство. К внешнему же сходству следует, пожалуй, прибавить еще глаза, которые у нашей козо-овцы, как и у всех настоящих коз, были нагло-бесными, с узким вертикальным разрезом зрачков. К семи годам она считалась уже старой овцой, из черной успела сделаться седой, как и полагалось пожилой особе. Надеюсь на то, что Коза будет надежным поводырем для небольшой нашей отары, мать и отец охотно взяли ее на свой двор и, как оказалось потом, не прогадали.

Назначено нам было с десяток кур во главе с петухом, которого, конечно же, звали Петькой, как и всех без исключения петухов в селе Монастырском. Соседние кочета, с коими вел постоянную войну наш забияка, были тоже Петьками. Мне казалось, что наш Петька был отважнее их, задиристее, первым вступал в бой. Ничего, что и ему влетало по первое число, но сам-то он никогда не считал себя побежденным. Ежели для кур-молодаек мог что-то означать внешний облик ухажера, то и в этом смысле за нашим Петькой было не-

сомненное преимущество. Он имел необыкновенно нарядную окраску. Серо-пестрые, похожие на мрамор перья, плотно облегающие его самого, будто выточенного из того же мрамора, покрывались, как нарядной шелковой завеской, длинными, золотисто-оранжевыми, напоминавшими мягкую гриву скакуна. И над всем этим великолепием возвышалась на огненно-красной шее гордая Петькина голова, увенчанная гребешком, которому надлежало бы тоже быть красным, но он был скорее черным от запекшейся крови, не успевавшей подсохнуть до конца, поскольку наш красавец вел, как уже сказано выше, непрерывные бои с соперниками из соседних дворов.

Гарем Петькин был невелик, но Петька старался увеличить его за счет чужих молодок. Иногда ему удавалось, внезапно ворвавшись в соседний двор, настигнуть одну из них и на глазах ошеломленного, растерявшегося от такой неслыханной наглости ее законного супруга овладеть ею. После этого посрамленный, униженный перед своими подругами сосед затевал со своим обидчиком кровавое в самом прямом смысле этого слова побоище, так что летели не только пух и перья, но и текла самая натуральная живая теплая кровь. Основательно потрепанный, с гребешком, превращенным в черт знает что, Петька с победным хлопаньем крыльев и громким воинственным кукареканьем возвращался на свой двор. Видимо, понимая, что провинился перед собственными женами, он тотчас же отыскивал среди них старшую (а ею была, конечно же, Тараканница) и начинал подхалимски охаживать ее, опустив одно крыло так, что оно касалось земли, делал круги и что-то там басовито бормотал, похоже, просил прощения: что, мол, поделаешь, леший попутал... бывает...

Но все это будет потом, а пока что Петька находился на старом дедушкином дворе и не знал, что и для него готовится новоселье.

3

Самым, пожалуй, нелегким делом было перевести доставшуюся нам скотину на новый для нее двор. Человек и тот не скоро, не вдруг привыкает к другому месту, даже дети, которые, казалось бы, рады любой новизне, но и они будут долго тосковать о доме, в котором родились. Я, например, первые два-три года по нескольку раз за день бегал к бабушке, нередко с ночевкой, а когда мать не отпускала меня, забирался на подлавку¹ и, чтобы никто не видел, совершенно несчастный, тихо плакал там. Бегал я к бабушке и тогда, когда сам старик вежливо намекал: «Ты, Мишанька, что-то зачастил к нам. Не обижают ли тебя старшие братья, Санька и Лёнька?» — «Не-э-э, — решительно отвергал я дедушкины подозрения, — не обижают. Но только они не умеют свистки делать!» — «А-а-а, вот оно что! Без свистков нельзя. Какая же это жизнь, без свистков!» — Дедушка улыбался, но прятал свою улыбку в бороде, так что я и не замечал ее. И заканчивалось тем, что

Так у нас называется молодая овца, которая обьягнится лишь через два года после своего рождения.

¹ Так у нас называется чердак.

я возвращался домой с одним, а то и с двумя новенькими свистками, сделанными дедушкой из палочки молодой липы. Когда же старик на все лето переселялся в сад, который навсегда останется для нас общим, я и вовсе пропадал там неделями, бегал домой лишь за хлебом и молоком.

Слово «бегал», похоже, будет чаще других встречаться на страницах этой повести, потому что в пору, о которой идет в ней речь, я вообще передвигался по земле только бегом, и никак иначе. Да и от старших в доме, бывало, чаще всего слышал: сбегай, Мишка, туда, сбегай сюда. Никто не говорил мне — сходи, а все — сбегай да сбегай. Ну, я и бегал. Не только потому, что по-другому-то и не мог, но, главное, мне самому нравилось бегать. Может быть, еще и оттого, что я всегда куда-то торопился. К несчастью для меня, для моей семьи и для моих друзей, эта черта во мне сохранилась по сей день. Но вот бегать теперь так быстро и долго не могу. Тороплюсь однако, когда нужно и, по большей части, когда не нужно, по-прежнему...

Новый дом постепенно осваивался, обживался нами и через какое-то время перестал быть новым. А когда он наш, когда он с в о й, лучшего на свете уже и не бывает. Более всех, кажется, радовался ему отец, или папáнька, как звали его мы, дети. Радовался своему собственному дому он, видать, потому еще, что мог реже видеть на себе тяжеловатый, укоряющий взгляд отца и слышать произнесенные с гневным сокрушением два слова: «Сукин сын». Когда дедушкин гнев подымался до точки кипения, он к первому из этих слов прибавлял приставку, и тогда из его груди исторгалось: «Р а с с у к и н с ы н». Далеко не робкий по натуре, в такую минуту отец бледнел, весь сжимался, прятал голову в плечи, будто готовился встретить страшной силы удар дедушкиного кулака.

Дедушка и дядя Пашка, младший его сын, согласились, что часть нашего скота, а именно — овцы и свинья до зимы останутся на их дворе, а с первым снегом будут пригнаны на наш. Расчет тут был простой: за зиму, когда скотину не пасут в поле, она обвыкнется с новым жильем и по весне уже не будет рваться на старое. Куры, те и сами нигде не денутся, разве что взлетят на теплую от испарения макушку навозной кучи, чтобы покопаться там в надежде отыскать ржаную зернину, случайно удержавшуюся в колоске.

Что касается Карюхи и Рыжонки, то они должны были переселяться одновременно с нами. Без них семье и дня не прожить. Карюхе надлежало помочь отцу в доделывании многих недоделанных дел, главным из которых был, конечно, колодец. Его во время самой первой помочи вырыли мужики, при этом неожиданно быстро добрались до воды, оказавшейся необыкновенно вкусной, — так именно оценивалась родниковая вода, когда в ней вообще не ощущалось никакого вкуса. Не хватало, однако, сруба, а из ветляных пластин его не делаешь: быстро сгниют. Надобен для этой цели только дуб, а он строго-настрого охранялся лесником, ко-

торого не так-то легко было уговорить. Но можно, впрочем, умаслить.

Сельсоветский чин, решительно усиленный четвертью самогона-первака, специально выгнанного отцом для этой цели, заставили в конце концов блюстителя лесных угодий смиростивиться и указать нашему папáньке на десяток молодых дубков, которые, на свою беду, выскочили из основной дубравы на Вонючую поляну.

— Пилите, хохлята¹, но отвозите к себе только ночью. И чтоб ни одна душа не видела! — напутствовал лесник, а глаза его, удалив напускную строгость, уже общипывали, ласкали поставленную перед ним грешную посудину, в распитии которой немного погоды примет более чем активное участие и сам Николай Михайлович. Теперь выходило, что принесенный им самогон ни с юридической, ни с какой другой стороны не назовешь взяткой, которая оказалась бы на совести обоих.

Так-то вот проходила эта сделка.

Строго придерживаясь указаний лесника, отец и два его брата, дядя Петруха и дядя Пашка, выезжали в лес лишь поздней ночью, когда село погружалось в глубокий сон. Карюха, знавшая все лесные дороги и просеки и особенно хорошо — Вонючую поляну², где часто паслась, не нуждалась в вожжах, чтобы почти вслепую доставлять порубщиков куда нужно. Она вроде бы понимала, что такое дело должно исполняться втихую, ни разу не огласила лес своим ржанием, так же молча ввозила телегу с освобожденными от сучьев и распиленными дубками во двор, молча ждала, когда возок разгрузится, молча разворачивалась в сторону оставшихся открытыми ворот, молча отвозила молчаливых, как бы затаившихся мужиков опять в лес, на Вонючую поляну. За одну ночь они успели с ее помощью переправить к нам всю драгоценную древесину. Само собой разумеется, что за телегой туда и обратно (и так несколько раз) неслышной тенью бежал Жулик, но и он помалкивал, не разрешал себе гавкнуть, хотя и очень хотелось: лес и ночью был полон незримой, неслышной для человека, но хорошо ощутимой для собачьего нюха и уха жизни: на поляну, к примеру, то и дело выбегали зайцы, чтобы порезвиться там, попрыгать, покувыркаться, устроить заячью чехарду, словом — справить свою свадьбу, по времени она совпадала с нашей колодезной эпопеей; где-то неподалеку подкарауливалась лиса, ждала, видно, момента, когда косые совершенно уже окосеют и ошалеют от своих брачных игр и когда легче всего «придавить» одного из них и утащить в глубь леса; не мог не почуять и не услышать настояжившимся, поставленным торчком ухом Жулик и отдаленного передвижения, след в след, волчьей семьи с матерым во главе. Будь мой лохматый дружок в одиночестве на этой лесной поляне, он натерпелся бы такого страха от одного лишь сознания, что где-то тут бродят и его свирепые сородичи, что долго потом не мог бы унять дрожь во всем теле. Но сейчас он находился в одной компании вместе с тремя сильными му-

¹ Так звали нас по нашей прабабушке-украинке.

Вонючей поляну нарекли за остро пахучий свирельник, в изобилии росший по всему ее пространству.

жиками, да еще Карюхой, с которой очень дружил и которую сильно любил, потому что она позволяла устраиваться под самым своим брюхом в зимнюю стужу, согревая его таким образом, любил, может быть, еще больше потому, что с Карюхой и ее хозяином можно совершить много удивительных путешествий по белу свету,— какое удовольствие бежать впереди лошади, запряженной в телегу, или за самой телегой, прямо у колес, или выбегая далеко то вправо, то влево, вспугивая то куропатку, то стрепета, то даже самого огромного дудака¹, то — что бывает чаще всего — зайца, которого, конечно, не догонишь, но удовольствия получишь в полную меру, видя, как он испугался тебя, какой, стало быть, ты грозный пёс, если, прижавши к спине длинные уши, зверь этот, в размере ни капельки не уступающий самому Жулику, панически чешет от тебя и тогда, когда ты, запыхавшийся, давно уж оставил его в покое. После сказанного любому станет ясно, что Жулик не мог остаться в стороне и от этих ночных поездок, что и он мог бы по праву причислить себя к строителям чрезвычайно важного для жизни всего нашего домашнего и дворового населения «объекта».

Недели через две колодец был одет изнутри в добротную дубовую шубу, коей не было износу. Дуб, как известно, не боится воды. От нее он меняет лишь цвет, делается угольно-черным,— вода только усиливала, уплотняла его внутреннюю твердь, делавшуюся уже совершенно несокрушимой. Колодец хоть и не был глубок, но почему-то не замерзал и в самые лютые морозы, которые особенно свирепствовали в первую зиму нашего новоселья, будто и нас всех вместе с колодцем испытывали на прочность. Последним, венчающим все дело, был поставлен журавель, без которого колодец не был бы еще колодцем. Теперь же на длинной цепи свисало ведро, коему полагалось называться уже не ведром, а бадьей, готовой в любую минуту окунуться в студёные глубины и зачерпнуть до самых краев зёркально-прозрачной, радующей глаз и душу живительной водицы. Да святится же имя твое, родниковая, невидимо струившаяся по вечно работающим, напряженным, черным жилам земли Вода!

В конце ноября вся скотина была собрана вместе. Теперь для нас и для нее начиналась новая, похожая и не похожая на прежнюю жизнь.

4

Началась она, эта новая жизнь, с небольшого, но все-таки ЧП. Восьмимесячная свинья, которая должна была бы в будущем году опороситься, дать первый приплод, уже полностью освоившаяся в хлеве по соседству с Рыжонкой, ничем, вроде бы, не провинившаяся перед папáнькой, была неожиданно продана им. Вместо нее в соседнем селе Салтыково отец купил годовалую свиноматку невообразимой окраски, тоже супоросую, как уверял ее прежний хозяин. От русской белой породы остались на ней лишь отдельные пятна,

¹ Дрофа.

да и те не совсем белые, а какие-то грязноватые, а большей частью свинья была черной, с подозрительной рыжинкой на спине да на брюхе. Рыло у нее было необыкновенно длинное, конусообразное, с жесткой черной щетиной до самого пяточка; а когда она раскрывала свою пасть, оттуда выглядывали зубы, о которых можно было бы подумать, что они позаимствованы у самого волка. Скоро выяснилось, что любивший прихвастнуть наш батя соблазнился тем, что у свиньи этой была любопытная биография. Ее мать, обыкновенная хрюшка, прижила ее с диким кабаном в салтыковском лесу, где к концу лета свиньи из всех ближних сел и деревень харчатся созревшими желудями. Случалось, что туда с этой же целью выходило стадо и диких кабанов. Между самцами тотчас затевались драки. Наши, домашние, отведая пристрашенных веприных клыков, быстро выбрасывали белый флаг, а говоря попросту — давали дёру, наполняя лес паническим воплем. Победители же заводили знакомства с самками, которые почему-то не спешили покидать лес. Одному из них и приглянулась будущая мать странного существа, оказавшегося на нашем дворе. Папáнька рассчитывал, что от такого гибрида, от этого полузверя может получиться потомство более жизнестойкое и неприхотливое к кормам, а главное, мясо от такой свиньи можно будет выдавать за некую дичину со значительной надбавкой к цене. Летом же, уверял отец, нашу Зинку (бывший хозяин уже успел ее окрестить) вообще не надо будет кормить: она сама позаботится о себе, сама отыщет где-нито еду,— на то она и дочь дикого зверя. И поросят от нее можно ожидать от десяти до пятнадцати аж штук,— шуточное ли дело, целое стадо от одной!

Перечисляя все Зинкины достоинства, каковые пока что можно лишь предполагать в ней, отец изредка взглядывал на жену в надежде увидеть на ее лице одобрение его покупки, но видел совершенно противоположное. Скрестив на груди руки и судорожно вздыхая, мама упорно молчала. Уводя в сторону готовые наполниться слезами глаза, вымолвила наконец:

— Пресвятая Богородица, Царица небесная, и где только он нашел эту окаянную...— и, не договорив, заплакала.

Примерно так, наверное, подумали о новоявленной все, без единого исключения, жители двора. Первым взбунтовался Жулик. Завидев Зинку, бесцеремонно, похозяйски обнюхивающую все углы, он взъерошил всю шерсть, какая только была на нем от ушей до кончика хвоста, и разразился таким яростным, с оттенком плаксивости, лаем, какого мы давно от него не слышали. Оттого ли, что пес почуял в свинье отдаленное, растворенное в жилах присутствие звериной крови, то ли испугался ее клыков, но залился захлебывающимся брехом не прежде, чем вспрыгнул на завалинку избы, куда Зинка, если бы и захотела преследовать его, забраться не могла. Куры, заслышав набатный крик своего предводителя, в один миг оказались на крыше хлевов и долго еще кудахтали там, не смея спуститься во двор, где, вальяжно расхаживая, басовито-утробно похрюкивала непрощенная незнакомка. Карюха, привязанная к саям, перебиравшая в них мягкими губами

остатки овсяной мякины, время от времени отрывалась от еды, подымала голову и поворачивала окровавившееся яблоко глаза в сторону Зинки. На всякий случай лошадь переступала задними ногами, выворачивала их так, чтобы нахалка видела ее копыта, которые ничего хорошего не обещали ей, коли она надумает приблизиться к саням. Рыжонка, успевшая свыкнуться с Хавроньей и вроде бы даже тосковавшая по ней, добрая, тихая наша Рыжонка неожиданно для нас проявила, кажется, наибольшую нетерпимость к новой жительнице. Поняла ли старая, что Хавроньино гайно по неизбежности должна занять Зинка, но, едва завидев ее, быстро ушла в свой хлев, развернулась там, воинственно выставила у раскрытой двери рога, которые ни при каких обстоятельствах не пускала в дело, с очевидным намерением преградить путь папáнькиному приобретению.

Мы, дети, отнеслись к нему, этому приобретению, по-разному: сестра Настя взяла сторону матери; Санька, любимец отца, потому что был похож на него и уже считался его помощником в доме, «подыгрывал» папáнке, всю расхваливал Зинку; беззаботный Ленка, тот вообще почти никак не отреагировал, хмыкнул лишь как-то неопределенно, кинув беглый взгляд на свинью, и удалился по своим делам; а вот мне Зинка страшно понравилась, потому что, я знал это, во всем селе ни у кого такой нет и никогда не будет. К тому же не только отец, но и я, его младший сын, не прочь похвастаться какой-нибудь новинкой в своем доме. «Покажу,— думал я,— нашу Зинку Кольке Полякову и Ваньке Жукову, они лопнут от зависти!» И, не откладывая коварный замысел на потом, в тот же день сбегал за Ванькой и привел его на смотрины. К моей немалой досаде, Ванька «не лопнул», а, издеваясь над моей гордыней, снисходительно обронил:

— Ну и невидаль! Свинья как свинья. Наша, когда повалется в грязи у Кочек¹, бывает наряднее этой...

— Ах, так! — заорал я, задохнувшись от такой наглости, не находя сразу, чем бы ответить на неожиданный для меня выпад.

Будь я поопытней, а значит, и поумнее, я бы сообразил, что Ванькины слова продиктованы не чем иным, как той самой завистью, на которую я и рассчитывал, приглашая друга на свой двор. Но я был плохим психологом, а потому и продолжал, распаляемый благородным гневом:

— На своей свинье ты верхом едешь. Попробовал бы на этой!

— А што?.. И попробую! — Не долго думая, Ванька разбежался и в одно мгновение оказался на острой по-кабани и жесткой Зинкиной хребтине. Ничего подобного не ожидавшая, свинья взвизгнула, потом заорала благим матом и с необыкновенной для такого существа, почти рысачей прытью понеслась по двору.

Тут уж не только Жулик и куры подняли новую волну сполошного гвалта, но и Карюха, оборвав поводок, приподняв, сколько могла, куцеватый, обсекшийся хвост, устремилась вслед за странным всадником, но-

рвя подхватить Ванькин пиджачишко оскаленными от ярости, желтыми, длинными зубами.

Зинке все же первой удалось сбросить Ваньку, да так, что он отлетел к самому плетню и барахтался там в снежном сугробе. Отряхнувшись и глупо ухмыляясь, он вернулся ко мне; изображая из себя победителя, пробормотал:

— Ну, вот, а ты говорил!.. Я не таких объезживал! — и страшно важный, направился к воротам. Но там, у ворот, выскочивший из дому отец успел-таки вытянуть моего дружка чересседельником вдоль спины.

— Поду-у-маешь! А мне нисколько не больно! — это были последние услышанные мною Ванькины слова.

К вечеру того же дня припожаловал к нам и сам «благодетель» из Салтыкова. По обоюдному согласию, купля-продажа редкостной свиньи должна была завершиться, как того требовал старый обычай, магарычом. Магарыч, по тому же согласию, оставался за отцом.

Матери ничего не оставалось, как достать десяток яиц, шматок соленого сала и готовить яичницу с поджаркой — на закуску.

Ну, а что же с Зинкой?

Три дня и три ночи она жила в сенях, в том нелепом коридоре, о котором сказано выше, благо дождей в нашем краю зимой не бывает. Трех этих дней хватило на то, чтобы пришедший к нам дедушка из разных обрезков бревен и сучкастых досок соорудил для Зинки подобие хлевушка-свинарника. Свинья переселилась туда, и двор успокоился. Все его обитатели скоро убедились, что Зинка хоть и свирепа с виду, но не делает ничего такого, чтобы кому-то угрожать. Выпускаемая во двор, она мирно прогуливалась по нему, даже помогала курам расшвыривать навоз, чтобы те смогли подхватить там зернинку ли, личинку ли навозного жука или дождевого червяка. Что касается проса или там ржаной зернинки, Тараканница находила то и другое чаще всего именно в свином навозе, потому как, обладая чудовищным аппетитом, пожирая принесенное для нее месиво из разных отходов, Зинка не успевала переварить все, что поглощала, а просо, так то вообще было для нее неперевариваемо,— это под силу лишь куриному желудку. Тараканница, конечно, первой сделала такое открытие и теперь не только обследовала Зинкино корыто, но и ходила за свиньей по пятам в ожидании момента, когда та соизволит оправиться и когда в теплом помете, можно будет обнаружить то, ради чего стоило сопровождать Зинку по двору.

Словом, к Зинке скоро все привыкли, не только смирились с нею, но и обнаружили, что вреда от нее нету никакого, а пользу могут получить все. Куры, как мы уже убедились, быстро извлекли ее для себя. Рыжонка, которая, кажется, уже была бы готова поселить Зинку рядом с собой, довольна была тем, что свинья помогала ей справиться с уж слишком большой порцией нарубленных тыкв и свеклы: мать ничего не жалела для того, чтобы получить от старой коровы две-три лишних кружки молока, помня при этом, что молоко у коровы водится не где-нибудь, даже не в вымени, а на языке. Овцам было удобно выбирать из расшвырянной по всему двору свиным рылом соломы присушенные и привяленные зеленые былки разных трав, березки, скажем,

¹ Озеро в центре села Монастырского.

повилики, клеверка, спрятавшихся во ржи в период ее созревания и теперь оказавшихся в обмолоченных снопах,— от них веяло душноватым, терпким запахом степей, напоминавшим животным ушедшее лето. Карюхе нравилось, когда Зинка подойдет к ней и, задравши голову как можно выше, начинает почесывать ее отвисшее брюхо своим пятакон,— старая трудяга при этом блаженно жмурилась и тихо постанывала от великого удовольствия. Жулик, встретивший Зинку поначалу особенно враждебно, теперь нередко подкрадывался к ее корыту и ловко выхватывал из него размоченную корку ржаного хлеба и в какой-то степени умалаял постоянно живший в нем голод. Зинка хорошо видела проделки мошенника, но не подымала скандала, не гналась за псом, чтобы достойно наказать, а лишь, удивленно хрюкнув, провожала его глазами вместе с добычей. Впрочем, и сам Жулик не оставался в долгу. Иногда ему удавалось на гумнах или на лугах, где по ночам разбойничали волки, отвоевать у других собак большой кусок падали, и он делился им с Зинкой. Ну, не то чтобы откусывал специально для нее какую-то там часть, а просто, насытившись вдоволь, не уносил остаток в потайное место, не зарывал, не прятал его там. Зинка, не будь дурой, немедленно подбирала. С истинно звериной кровожадностью набрасывалась на мясо, уничтожая его в немыслимо короткий срок. Мы, ее хозяева, взрослые и дети, наблюдали за ней, дивились хищническим повадкам, даже снисходительно, поощрительно посмеивались в то время, когда нам следовало бы задуматься и насторожиться. Но всем было хорошо и весело оттого, что на дворе нашем воцарился, наконец, мир. Теперь все его обитатели вроде поняли, что очень нужны друг другу, что между ними существовала, как бы мы теперь сказали, обратная связь, что вся земля, вся Вселенная для них — вот этот в общем-то очень маленький, огороженный всего-навсего дырявым плетнем, крестьянский, мужицкий двор, который собрал их вместе и повязал одной судьбой-веревочкой.

5

Папáнька наш, как нетрудно заметить из сказанного выше, был неважным хозяином, а уж ежели сказать точнее, никуда не годным, то есть никудышным. Над всеми хлевами была только одна добротная крыша, а стены, сделанные все из тех же плетней и кое-как обмазанные перемешанной с навозом глиной, потрескались и продувались насквозь. Овцы, которых природа одарила великолепной шубой, те легко переносили зимнюю стужу, пробирающуюся во все помещения. Карюха вообще была чрезвычайно вынослива. Тот же папáнька закалил ее в своих бесконечных зимних поездках то в Саратов с извозом за сто верст, то в Бalandу на базар или в РИК¹ по своим сельсоветским делам, то на мельницу, где приходилось ждать очереди по многу часов, то к папáнькиному другу-собутыльнику в соседнем селе, то в самую глухую полночь, обязательно и в самую метельную, когда и днем-то свету вольного не видать,

¹ Районный исполнительный комитет.

к окраинному двору Селянихи¹, где, привязанная за глухой стеной избы, Карюха простаивала до третьих аж петухов,— петухи-то эти и давали им знак, что пора расставаться. Заслышав кочетиный отчаянно громкий крик, Карюха вздрагивала, приподнимала голову, настораживала ухо. Она знала, что сейчас ее повелитель, тепленький, счастливо-хмельной, выйдет во двор, отвяжет ее и, закутавшись в тулуп, плюхнется в сани, пробормотав невнятно: «Н...ну пшла, Карюха...

Так что кобыле не привыкать к холоду.

А вот Рыжонке было совсем несладко, и я просил мать, чтобы она доила корову в избе, где та могла хоть немножечко погреться.

— Она и молока поболее даст,— говорил я.

— Ну, ну,— улыбалась мама, радуясь тому, что ее младший сын, ее последыш, оказался таким сердобольным и заботливым.— Ты только слезай с печки-то да наруби свеклы. Ленку не допросишься. А отец объявился на минуту и опять ускакал в Совет, нечистая сила...— Мать отвернулась от меня, пряча глаза, а я-то знал, что они уже наполняются слезами, и мама не хотела, чтобы я видел это. Торопливо добавляла: — Сле-зай, слезай, сыночка! А я пойду за Рыжонкой. Слышишь, поди, она давно зовет?

Рыжонка первый раз должна была переступить порог нового дома, а потому и остановилась у сеней в нерешительности.

— Заходи, Дочка. Заходи, милая! — приглашала мать голосом, каким приглашала бы самого желанного гостя или, лучше сказать, самую близкую свою подругу, которая еще не успела побывать в этом доме. Да и была ли у мамы подруга более близкая и более дорогая, чем Рыжонка?!

Сенная дверь находилась напротив избыной, так что хвост коровы оставался еще во дворе, а рога уже были в задней комнате дома, как раз на высоте печки, куда я успел вновь взобраться. Лишь теперь увидел, какая же она огромная, наша Рыжонка. Когда вошла совсем, то зад ее почти упирался в дверь, которая с трудом закрывалась за нею, а рога утыкались в простенок между окон. Как только Рыжонка в с я оказалась в избе, мать и я принялись за работу. Рыжонка, само собой, сейчас же наполнила дом сочным ядреным хрустом; по углам ее рта в одну минуту были взбиты светло-розовые клубки сладкой свекольной пены, а бока покойно вздымались и опускались, с них так же, как и с губ коровьих, капало, но это подтаивал снежок, принесенный Рыжонкой со двора.

Мать, помолившись, прошептала свое обычное: «Пресвятая Богородица, помоги и помилуй!» — слово «прости» она в данном случае меняла на «помоги», обтерла мокрым теплым полотенцем Рыжонкино вымя, присела под ним с подойником. Послышались сперва прерывистые, очень звонкие удары молочных струй по дну ведра, затем, уже не прерываясь, они становились все глуше и глуше, а потом и вовсе не слышными, поглощенные и заглушенные густой молочной пеной, по-

¹ Так звали рано овдовевшую тридцатилетнюю женщину, жившую в одиночестве на окраине села. Покойный ее муж почему-то прозывался Селяном. Отсюда — Селяниха. Вообще-то имя ее — Фима, Ефимья.

дымавшейся все выше и выше. Теперь уже запах парного молока добрался и до моих ноздрей, которые непроизвольно расширились и запульсировали. Но еще раньше его учуял наш кот Васька (говорю «наш» потому, что и у всех других односельчан коты тоже звались Васьками, так же точно, как кочета Петьками). Он присел за спиной хозяйки и стал ждать, сонно прижмурившись, будто оказался тут так просто, случайно.

К этому моменту я успел справиться со своим делом, которое, наверное, очень понравилось Рыжонке, потому что она радостно прогибала спину и благодарно вздыхала. Дело это было очень серьезным: я отдирал пальцами от коровьей шерсти намерзшие шматки куриного помета; за ночь Тараканница и ее подруги, усевшиеся на перерубе, точно над коровой, успевали обкакать Рыжонкину спину от рогов до хвоста. В тот день, как и во все последующие дни зимою, я один только и мог избавить корову от столь нежелательного для нее «посева». Поскольку хребтина коровы, когда ее вводили в избу, находилась на уровне печки, мне было удобно наводить порядок на ее шерсти. Думаю, что именно это занятие, сделавшееся со временем моей постоянной обязанностью, в немалой степени сблизило, подружило меня с Рыжонкой, что было в высшей степени важным и весною, когда мне приходилось пасти ее. Дело в том, что под старость Рыжонка не торопилась встретиться с быком, а когда он сам домогался ее, сердито отгоняла, хотя была в два раза меньше него. По этой причине Рыжонка приносила нам очередного теленка не зимою, к Рождеству, скажем, или к Крещению, как делали коровы помоложе, а где-то в конце мая. Боясь, как бы чужие коровы или тот же мирской бык по кличке Федька не сбедили теленка еще в утробе матери, Рыжонку не выпускали в общее стадо, и она под моим наблюдением паслась отдельно за околицей села, на Гаевской горе. Матери нашей очень хотелось, чтобы Рыжонка сменила этот неудобный для всех нас «цикл», а потому с надеждою спрашивала пастуха, когда стадо возвращалось под вечер в село:

— Тихон Зотыч, как наша-то старая, не обошлась?¹

— Нет, Фросинья, не подпускает что-то Федьку. И глядеть не хочет на мирского²... А молодые-то и сами не больно охочи до старухи... Пора бы вам, хозяйшка, поменять свою Рыжонку.

— Да что ты, Зотыч, как можно! — всплескивала руками мать. — Где мы еще найдем такую. Она ведь у нас ведерница.

— Ну, и держите свою ведерницу. В ее молоке воды больше, чем... сама, поди, знаешь, — ворчал хромой, с вывернутой за спину покалеченной рукой Тихон Зотыч, явно оскорбленный тем, что не приняли его очевидно мудрого совета.

Рыжонка же, будто вспомнив, что пора встретиться с Федькой, только ей одной известным способом давала ему знать об этом и вела прямо на наш двор. Увидев такое почему-то всегда первым, я, как сумасшедший, влетал в избу и громко сообщал:

¹ Так говорят у нас, когда корова приняла быка.

² Бык-производитель, принадлежащий всему селу, то есть миру. Его называют еще «общественным».

— Мам... мам... а-а!.. Рыжонка обошлась. Она пришла с Федькой!

— Ну, ну... А зачем же кричать так! — говорила тихо мать, а сама уж опускалась на колени против образов, чтобы вознести хвалу и благодарность Царице небесной и Власу, святому покровителю коров.

Нынешний год для Рыжонки не был исключением: «обошлась», по обыкновению, намного позднее всех коров на селе и теперь отелится где-то в конце мая. Но это когда еще будет! А пока, находясь по-прежнему на своем удобном наблюдательном пункте, все на той же печке, я с беспокойством думал о том, как же нам теперь развернуть Рыжонку и вывести во двор. Ведь корова не лошадь, она не будет по требованию человека пятиться назад, может, и вовсе не умеет это делать. Да и сама Рыжонка, судя по всему, не имела ни малейшего желания расстаться с теплом. Пока хозяйка процеживала над горшками молоко, Рыжонка не спеша, явно растягивая время, доедала в большом деревянном корыте нарубленную мною кормовую свеклу. Корыто недавно сделано отцом и было едва ли не единственным его изделием, доведенным до конца, и то лишь потому, что счастливо избежало стадии «заготовок», — было сколочено за один день, как бы в один присест.

Разлив молоко по горшкам, мать обратилась к Рыжонке скорее с просьбою, чем с требованием:

— Ну, Дочка, хватит. Пойдем, милая, во двор.

Рыжонка оторвала голову от пустого корыта не раньше, чем облизала его самым тщательным образом, и только уж потом глянула на хозяйку своими вечно печальными, еще более прекрасными от этой печали глазами, как бы удивляясь: «И это ты, всегда такая добрая и жалостливая, взяв от меня что нужно, теперь выпроваживаешь на улицу, где так холодно, а после избытного тепла покажется еще холоднее?»

Виновато вздохнув, мать еще более ласково говорила:

— Понимаю, понимаю, Дочка, что тебе не хочется уходить. Но что поделаешь — твое место там, во дворе. Ужо опять тебя впущу. А сейчас пойдем. Пойдем, милая.

— Мам, да что ты ее гонишь? Пушай побудет еще немножечко, — попросил я.

Рыжонка сейчас же повернула голову в мою сторону, но, сообразив, что меня не послушают, тяжело и шумно выдохнула и сама, неожиданно легко и быстро, развернулась. Для этого ей пришлось использовать пространство между шестком и окном напротив печки, где обычно хозяйничала со своими чугунами, сковородой, ухватами да кочергой мать. Пока Рыжонка разворачивалась, я успел открыть для нее дверь в сени и окатить себя холодным паром, ринувшимся в избу. На печку вскочил, когда рога коровьи могли подцепить мою холщовую рубашку. Подцепить нечаянно, конечно, невзначай. Я уже говорил, что Рыжонка никогда не пускала их в дело. Да если бы и пустила, большой беды бы не случилось: рога у нее были круто загнуты вовнутрь, один навстречу другому, и могли лишь ущипнуть, но никак не поранить кого-либо.

Рыжонка никого не обижала, а ее обижали. Карюха, например. Разозлившись на хозяина, который нередко

злоупотреблял неограниченной властью над ней, она срывала собственную злость на ни в чем не провинившейся перед ней Рыжонкой,— больно кусала ее, когда Рыжонка нечаянно оказывалась поблизости от ее кормушки, а то и поддавала слегка под брюхо копытом.

Рыжонка была уж очень добра, а потому и беззащитна, как это всегда бывает. В этом смысле она напоминала мне нашу мать. Они вроде бы примирились с мыслью, что не могли, не имели права ни обижать, ни обижаться. Они обязаны были кормить и ублажать всех, хотя могли бы, в отместку, и не делать этого. Меня, например, удивляло, как это папáнька мог орать на маму, когда не она, а он виноват перед нею, что было совершенно очевидно. Недавно я невзначай подслушал ночной разговор сестры с матерью. Вернувшись с вечеринки, Настя ткнулась головой в плечо мамы и, всхлипывая, проговорила:

— Говорят, наш папáнька с Селянхой схлестнулся!..

— С ума-то не сходи. Сплетни это. Кто тебе сказал?

— Верка Полякова.

— А ты и слушаешь эту хабалку?..

— Все говорят.

— У всех язык что помело. Куда надумает, туда и повело, а ты ирастопырила уши, бесстыдница!

Мать говорила такое, а я-то видел, что она не верит и сама своим словам, и сердится на дочь за то, что та принесла ей новость, которая для нее давно уж не является таковою.

6

В канун Рождества ко мне пришел с ночевкой недавно обретенный (уже на новом месте) дружок по имени Ванька Жуков или Жучкин, как звали его все. Дом наш пока что стоял на отшибе, у озера Кочки, отделенный от села большим выгоном, где ранними туманными утрами в сопровождении полусонных хозяек собирались коровы и овцы, откуда, объединившись с помощью пастушьих кнутов в два стада, они отправлялись на пастбище и куда в полдень возвращались на стойло. Жуковы-Жучкины жили на Хуторе (так нарекли часть села, убежавшего с полверсты от него). Их изба стояла ближе всех к нашей, и первый мальчишка, которого я встретил и с которым в тот же день подружился, был Ванька. Хуторяне, хорошо знавшие его, немало подивились такому быстрому нашему сближению, поскольку Ванька был первеющий драчун, начинавший дружбу с кем бы то ни было не иначе, как с потасовки. Выяснив таким образом отношения с новичком и независимо от того, оказался победителем или побежденным, Ванька решительно предлагал: «Мир?» И ежели участник короткой схватки немедленно, не раздумывая, отвечал «мир!», Ванька совал ему под самый нос для взаимного рукопожатия свою шершавую длань с ногтями, никогда не знавшими ножниц (при необходимости Ванька их откусывал).

Мое знакомство с Жуковым обошлось без драки. И предотвратили ее наши псы — Ванькин Полкан и мой Жулик. Направляясь к двоюродным братьям, ко-

торые теперь жили тоже на Хуторе, я еще издали увидел мальчугана с большой белой собакой, оказавшегося на моем пути. Судя по всему, мальчишка уже изготовился к бою, потому что одну за другой сбрасывал на снег овчинные рукавички. Я невольно притормозил свой шаг. Но в это время Жулик, упустивший момент моего ухода из дому, спохватившись, рванулся вдогонку и прямо с ходу, не раздумывая, не соизмеряя своих силенок, налетел на преогромного пса. Черно-белый клубок с рычанием и визгом покатился по снегу. Совсем не трудно было понять, кто там рычал и кто визжал. Полкан так отволтузил моего бесстрашного защитника, что тот, с трудом вырвавшись из его совсем не дружественных объятий, дал дёру и сопровождал свое позорное, в общем-то, бегство отнюдь не воинственным воплем. Ванькин рот до самых ушей раздирала победительная улыбка, белые зубы, ослабившись, так и излучали сияние, а тоже белые глаза сделались еще белее. Ванька, конечно же, ликовал, да и кто бы не ликовал на его месте! По-видимому, он решил, что самому ему в таком случае затевать драку со мной не было никакой необходимости. Достаточно того, что Полкан достойно защитил и свою честь, и честь своего юного хозяина.

— Как тебя зовут? — подходя ко мне поближе, спросил Ванька.

Я ответил и в свою очередь спросил:

— А тебя?

— Ванька. Ванька Жучкин. Жуков, значит.— И тут же объявил свое обычное: — Мир?

— Мир! — ответил я как можно скорее, сообразив, что только такого ответа и ждет от меня хуторской забияка.

— Ну, айда к нам. Я тебе кроликов покажу. Таких ни у кого нету.

Забыв о первоначальном намерении провести двоюродных братьев, я вслед за Ванькой направился к нему в дом. И не зря: к себе я возвращался с новым другом, а в кармане рваного моего полушубка лежали, плотно прижавшись друг к другу, два теплых, вздрагивающих живых комочка — Ванька подарил мне на развод, как бы на новоселье, маленьких серых крольчат. Судя по их матери и отцу, которых мне показал Ванька, его подарок обернется для меня двумя необычными, большими-пребольшими, каких, в самом деле, ни у кого на селе нету и быть не может, породистыми кроликами. К тому же Ванька побожился, даже пообещал «провалиться вот на этом самом месте», словом, заверил меня, что в моем кармане находится будущая супружеская кроличья пара, от которой в два-три года расплодится целое стадо ушастых домашних зверьков.

Теперь мы сидели на печке и разучивали рождественскую молитву. Она была очень длинная и состояла из слов, более чем наполовину нам непонятных. «Рождество Твое, Христе Боже наш!» — бойко начинали мы, а далее притормаживали, поскольку не знали, что скрывается за последующими словами. «Воссиямиро, воссиямиро, весьсветорадуясь», — бормотали бессвязно и бестолково, уже и не пытаясь вникнуть в смысл выкрикиваемых словосочетаний. Из-за шестка мать подсказывала: «Рождество Твое, Христе Боже наш! Вос-

сиял весь мир, радуясь». Но у нас опять сливалось в это одно «воссиямиро». Срывались с нашего языка, вылетали вперемежку какие-то волхвы, какие-то «поучахися» и много всего другого, не доступного нашему куцеватому умишку. Лишь самый конец молитвы был ясен и для нас, и мы произносили его торжествующе громко: «Господи, слава Тебе!» По-видимому, что-то складывалось у нас и в остальных частях молитвы, потому что когда мы входили в очередной дом и, захлебываясь, перебивая и опережая друг друга, напевали наше странное сочинение, никто нас не останавливал и не поправлял. Мы с Ванькой старались вовсю. А мой средний брат Ленька, тот вообще не знал ни единого слова даже из этого «произведения». Остановившись чуть позади нас, он только разевал рот, показывал хозяйке или хозяину дома, в который входили, что и он поет, что и ему полагается либо крендель, либо конфетка, либо, вместо того и другого, копейка или даже пятак.

Перед самым уходом из своего дома мы хорошенько обдумывали, как бы успеть обойти все село, с какого конца начать и каким кончить, чтобы не пропустить ни одной избы, во что бы то ни стало побывать во всех и наславить столько, чтобы все аж ахнули от удивления при виде наславленного нами богатства. Село Моностырское насчитывало более шестисот дворов. Его можно обойти лишь в том случае, если начать поход не позднее двух часов ночи и закончить в девять или десять утра. Тут нужен был поводырь поопытнее и по сильнее, такой, который и село знал получше, и мог бы отбиться не только от собак, встреча с которыми будет неизбежной чуть ли не у каждой избы, но и защитить от ребятишек постарше нас, этих ночных разбойников, предпочитающих не разучивать трудной молитвы, не ходить с нею по избам, а встречать в темных местах славильщиков и забирать у них все, что добыли они честным трудом, — эти ночные духи менее всего боялись Божьей кары, каковая должна была бы по логике вещей обрушиться на их преступные головы. Тут уж воистину: на Бога надейся, а сам не плошай! Наученный горьким опытом прошлого года, когда был ограблен каким-то верзилкой, на этот раз я уговорил Леньку, чтобы он отправился по селу вместе с нами. А то, что он не будет петь, а лишь изображать открытием и закрытием рта пение, это нас не так уж и тревожило; споем и без него!

Когда мы оделись, накинули на шею бечевки для кренделей и готовы были шагнуть за дверь, произошло событие, которое радостно взбудоражило весь дом. Вышедшие за несколько минут до этого во двор мать и отец вернулись, да не одни, — каждый нес на руках по одному мокренькому ягненку. А по пятам за ними бежала и обиженно блеяла мать близнецов, старшая дочь Козы, Перетóка. Таким образом она как бы вернула долг нам за прошлый год, который прогуляла холостячкой. Теперь уже в доме никто не мог спать. Засуетились сразу все, забегали с толком, но большей частью без толку, забегали все сразу. И почти все осеняли себя крестным знаменем. Овца объегнилась не когда-нибудь еще, в обычный какой-то день, а в ночь под Рождество Христово, а это уже было счастье великое для семьи. Кто-то принес со двора сноп соломы. Мать расстелила

ее в одном свободном углу избы, уложила там новорожденных, обтерла их чуть ли не досуха, и только уж потом опустилась на колени, чтобы отблагодарить свою Заступницу, Пресвятую Деву Марию, и ее Сына Иисуса Христа, явившегося когда-то на свет Божий вот в такую же счастливую для всех ночь, найденного, кажется, не в каком-нибудь еще, а в овечьем хлеву.

Мы, славильщики, захваченные общей радостной суматохой, вышли во двор с некоторым опозданием. На малое время нас задержала Зинка, зачем-то оказавшаяся возле сенной двери. Ленька споткнулся о нее, и оба, один с руганью, а другая с недовольным хрюканьем, укатились в глубь двора.

Невольная задержка стоила нам некоторых потерь. Нас упредили. Мы входили в первый, потом во второй, третий и в последующие дома в тот момент, когда из них по двое, а то и по трое выбегали другие ребятишки, отправившиеся в обход села раньше нас. Такое положение вещей не могло нас не огорчить. Однако ж и мы вернулись не с пустыми руками. Перекинутые через левое и правое плечи бечевки были по самые завязки унизаны кренделями, которые прямо на ходу сортировались по качеству: фабричные, лоснящиеся, светившиеся нежным румянцем находились в одной связке, а домашние, собственного изделия, в основном испеченные из ржаной муки (ими одаривали нас в бедных избах), — в другой. А в карманах, упрятанные подальше, таились копейки, семишники, гривны, пятаки и даже (у меня) один беленький гривенник: он-то и веселил более всего, подпитывал, поддерживал во мне победительное чувство. У моих спутников такой монетки не было, я это знал. Мне сунул ее, незаметно для других, дедушка, когда под конец похода мы заглянули и к нему. Может, поступил он так потому, что именно я успел сообщить ему о великом событии в нашей семье, о появлении в ночь под Рождество сразу двух ягнят.

— Кто же их принес вам? Опять старая Коза?

— Нет, дедя, не Коза. А Перетóка! — ответил я уже из сеней.

Теперь я был совершенно уверен, что дедушка сейчас же оденется и отправится к нам. Не мог же он не разделить с нами такой радости! А мне и моим спутникам оставалось заглянуть еще в две-три избы и на том завершить «кругосветное путешествие» по селу.

Проводив Ваньку до его дома, мы с Ленькой вернулись к себе. Свисающие с наших плеч тяжелые связки кренделей, а более того — наши сияющие рожицы исторгли у наших домашних и гостей, которых набралось пол-избы, возгласы неподдельного радостного удивления.

— Полезайте на печку, обсохните. Вымокли, чай, до нитки.

Мать могла бы и не говорить этих слов. Они полетели нам уже вдогонку. О печке мы мечтали еще на улице, потому что в наших валенках хлюпало от растаявшего снега. Он зачерпывался, когда мы по самое пузо проваливались в сугробы, которые приходилось преодолевать в поисках кратчайшего пути от одной избы к другой. Теперь мы с Ленькой лежали на горячих оголенных кирпичах, и от наших штанов шел пар, а по всему телу разливалось благодатное тепло. Оно очень скоро усыпило

бы нас, если б не ягнята, возле которых, сокрушенно ворча, хлопотала мать. Близнецы уже стояли на собственных ногах, и не только стояли, а, помахивая куцыми хвостиками, бегали вокруг Перетóки, подсовывали под нее свои продолговатые, умиленно-глупые мордочки, а овца отстранялась, шарахалась в сторону, когда ягненок касался ее нагрубшего молоком резинно-упругого соска. Ягнятам хотелось есть, и они не понимали, почему мать не дает им молока, и в недоумении на какое-то время прекращали свои попытки добратся до него. Это-то и беспокоило маму. Она уж приготовила бутылочку с коровьим молоком, но ягнята вертели мордочками, брыкались.

«Еще помрут с голоду», — подумал я, и радость от успешного рождественского похода по селу малость приугасла.

Встревоженная больше моего мать позвала папáньку:

— Подержал хоть бы ты ее. Не хочет кормить, глупая!

К счастью, у молодой овцы были тоже рога, как и у ее матери. Они не такие большие, как у Козы, но вполне достаточны для того, чтобы отец мог ухватиться за них. А чтобы овца не вертелась, он прихватил ее и ногами, вроде бы оседлал. Мать тем временем поднесла к ее вымени сперва одного, потом другого ягненка, одного — справа, другого — слева. К великой маминой радости, ягнята тотчас же принялись бурно сосать. Перетóка вся изогнулась от боли, а больше — от щекотки, но уже не делала нового рывка, чтобы освободиться от железной мужичьей хватки, а потом как-то вся обмякла, расслабилась (державший ее почувствовал это своими ногами), а затем и вовсе успокоилась, даже стала совсем уж мирно пережевывать серку¹

— Ну, отец, отпусти ее. Теперича она не уйдет.

Папáнька разжал пальцы, пошевелил ими, посмотрел на рубцы, оставленные рогами на его ладонях, перекинул ногу и осторожно отошел. Присел на скамейку рядом с женой, и теперь с какими-то просветленными, умиротворенными лицами, боясь шевельнуться и произнести хотя бы одно слово, они наблюдали за овцой и за первым ее потомством. Почувствовав наконец себя матерью, Перетóка тихо, как-то по-кошачьи мурлыкала и поворачивала голову то вправо, то влево, чтобы дотронуться до коротких хвостиков, коими ягнята непрерывно повиливали, наслаждаясь теплым, почти горячим материнским молоком. Этим своим дотрагиванием овца, похоже, поощряла, давала знать, чтобы ягнята не отпускали сосков, выдаивали их до последней капли, насыщались досыта, толкали мордочками посильнее, — ей от этого хоть немножечко и больно, но она — мать, потерпит.

Из передней, красной комнаты один за другим стали выходить гости. Первым — дедушка. Разлив по бороде широкую улыбку, он вымолвил:

— Ну вот. Давно бы так! — Это относилось к овце и ягнятам.

— А я что говорил! — пробасил Федот Михайлович

Ефремов, ровесник и давний дружок отца. Он появился к нам раньше всех, да не один, а по пути собрал целую дюжину ребятишек и втокнул их перед собой в нашу избу, громоподобно возгласив при этом:

— Принимайте славильщиков, хозявы!

Славильщики, дружно шмыгнув носами, принялись так же дружно петь. В том, как они пели, не было, как и у меня с Ванькой, ни ладу, ни складу, ни какой-либо осмысленности, но все с переизбытком искупалось усердием и тем еще, что над звонкими, прерывающимися, ломкими голосами детей совершенно отчетливо гудел, как церковный колокол, басина Федота Михайловича, где был и лад, и склад, и ясный совершенно смысл: Федот один только и знал всю молитву от начала и до конца такой, какой ей полагалось быть. Знал он, конечно, и о том, что хозяйка по достоинству оценит и его усердие, и его несомненную набожность. Рокот Федотова голоса раскатывался по избе минуты три-четыре. Пропев, он, как и следовало ожидать, потребовал, предварительно вытолкав уже одáренных ребятишек за порог:

— А нуть-ко, Фросиньюшка, где твои блины?.. И ты, Миколай Михалыч, пошто сидишь аки пень? Подымайся да ставь на стол. Пропустим по лампадке во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вон какое счастье вам подвалило под Рождество Христово. Я б на такой-то случай и четверти не пожалел!

— Ишь расщедрился на чужое-то. У самого-то у тебя летошнего снегу не выпросишь, не то что... — Отец говорил это, а в руках у него, тем не менее, была бутылка, которая тут же оказалась посреди стола; на столе этом, как по шучьему велению, возвышалась уже стопка блинов. — Ну, присаживайся, славельщик бородатый. Куда от тебя денешься.

С помощью присоединившихся к ним дяди Петрухи и дяди Пашки они успели «усидеть» бутылку и съесть все блины в непостижимо малое время. Родственники теперь же удалились по своим домам.

А Федот поспешил заверить папáньку:

— Двор твой новый теперича завсегда будет счастливым. Приплод в канун Рождества — это, Михалыч, самая наиважнейшая примета. Такое бывает очень даже редко. Так што ишо раз поздравляю и тебя и все твое, значит, семейство. — Увидав входившую со двора хозяйку, заговорил еще оживленнее: — Фросиньюшка, дай-кось я тебя поцелую на радостях! Ить я ваш самый наипервейший друг! — Он попытался было сунуть свою уже достаточно провонявшую самогоном и махоркой бороду в мамино лицо, но мама резко отстранилась:

— Ишь чего удумал. Иди целуй свою. Заждалась, чай.

— Оно и правда. Засиделся я штой-то у вас. — Федот Михайлович покосился на опустевшую бутылку с очевидным сокрушением, поблагодарил хозяев за хлеб-соль и шумно вывалился за порог. Дождавшись, когда не только избяная, но и сенная дверь захлопнулись за ним, мать вымолвила с облегчением:

— Слава тебе, Господи, кажись, ушел славильщик.

Сказав это, она покраснела. В последнюю минуту, очевидно, вспомнила, что не следовало бы провожать

¹ Так в нашем селе называют жвачку.

вот так гостя да еще в большой праздник. Не по-христиански это. И не в ее правилах.

Ленька давно уже спал. А я делал вид, что сплю тоже, а сам затаился, притих, пришипился, потому что был крайне и радостно поражен увиденным.

Оставшись одни, мать и отец уселись на скамейке так близко друг к дружке, как давно уже не сидели. Более того: рука папáнькина лежала на плече матери, а мама, откровенно счастливая, прижималась к отцу еще плотнее и украдкой от него потихоньку смаргивала капельки слезинок со своих черных, по-девичьи длинных ресниц.

Насытившиеся ягнята смешно подпрыгивали на полу. Только что обсохшие и едва вставшие на собственные ноги, они уже норовили боднуться, померяться силенкой, неуклюже тыкались лбами, а их мать, тоже, видать, очень счастливая, жуя свою серку, наблюдала за ними. Так, на всякий случай.

Тихонько, чтобы никто не услышал, я повернулся с живота на спину, подсунул правую руку под Ленькину голову и сейчас же заснул.

Помнится, приснились мне в то утро ягнята-близнецы. Они лезли ко мне под одеяло, а я почему-то их не пускал, отталкивал.

7

В далекие уж теперь доколхозные времена от моей матери чаще всего можно было услышать два слова: «убрать скотину». Они были у нее корневыми и в таких словосочетаниях: «У меня еще скотинешка не убрана», или: «Погоди, кума, вот убегу скотину, зайду к тебе, покалякаем тогда», или: «Нéколи мне, шабренка¹, надо еще со скотиной прибраться». В понятие «убрать скотину» составною частью входило: подоить корову, напоить лошадь, дать корму овцам, замесить свинье и перво-наперво — очистить хлевы от навоза. И получалось, что среди множества дел в нашем дворе уборка скотины была если уж и не самым важным, то, во всяком случае, совершенно неотложным делом. По логике вещей исполнение его полагалось бы отцу, но так как он был всегда «при исполнении» еще более важных обязанностей в сельсовете, то большей частью уборкой скотины занималась мать; сестра и старшие мои братья подымались позднее, а поутру к скотине надобно выходить ни свет ни заря, а на это была способна лишь мама.

Зимою утренние и вечерние хлопоты во дворе проходили по-тёмному и начинались с очищения хлевов от навоза. За необыкновенно длинную зимнюю ночь его производилось очень много, и «рекордсменкой» была, конечно же, Рыжонка. Сотворенные ею огромного размера «лепехи» к утру смерзались так, что отодрать их от земли можно лишь вместе с соломенной подстилкой и в таком виде относить в общую кучу. Туда же потом как бы перекатывались Карюхины круглые «шары» (иногда я отбирал самый круглый, чтобы погонять его по накатанной зимней дороге на улице); овечьи «орехи» собирались в ведро и также высыпались в общую кучу,

¹ Соседка.

равно как и свиной помет, который за дурной запах назывался не иначе как дерьмо, а то и просто более привычное для сельского жителя классическое говно, — даже скованное морозом Зинкино произведение умудрялось сохранять свой изначально натуральный запах; лишь хорошенько смешавшись с пометом от других Зинкиных сожителей и сожительниц по двору, оно переставало оскорблять наше обоняние. А то, что получалось от кур, собиралось отдельно; весною, когда появлялись первые всходы тыкв, огурцов и свеклы, мать будет подкармливать их жидко разбавленным раствором из богатого азотом куриного помета.

Навозная куча зарождалась и вырастала главным образом зимою, но не летом, когда коровы и овцы на весь день выгонялись в степь, на пастбище, а Карюха в основном находилась вместе с хозяевами на полевых работах либо в постынных поездках по разным хозяйским надобностям. Куча вырастала как живая, поднималась с каждым днем все выше и выше. Сейчас, на новом нашем дворе, она была еще небольшой, но я-то знал, что к концу зимы станет такой, что на нее мне не взобраться и с разбега. А по весне, когда пригреет солнышко, вершина ее начнет дымиться, и тогда сама она будет напоминать маленькую Ключевскую сопку на далекой Камчатке, о которой мне прочитал в какой-то книжке Ленька. Слово «Навозная» заслуживает того, чтобы мы, люди, писали его с большой буквы. Неспроста же она помещается не где-нибудь, а прямо в центре двора, со временем занимая чуть ли не бо́льшую его часть.

Впрочем, почему же все-таки в центре?

Да потому, что у большинства наших односельчан Навозная куча предназначалась отнюдь не для унавоживания почвы в огородах или на поле. Наша монастырская черноземная земля обходилась и без удобрений. Огороды же почти у всех заливались полой водой, оставлявшей после своего ухода толстый, в целую лопату, слой ила, похожего на черный, ноздристый творог.

Расположившейся в центре двора Навозной куче отводилась не менее важная роль, а в наших условиях — определенно более важная. К концу лета из нее крестьянские руки извлекают основной топливный запас, коего хватит на всю длинную-предлинную, щедрую на лютые морозы русскую зиму.

И все-таки почему же в центре?

Да потому, что там, посреди двора, ее можно раскидать в большой, толщиной с полметра, круг. Делается это где-то в конце августа или в начале сентября, когда хлеба убегутся и когда навоз «созреет», то есть перепреет, перегниет и его можно с помощью Карюхиных ног и воды перемесить так, чтобы уже нашими руками уложить в специальные — двух- и трехячеичные для взрослых, однаычеичные для детей — деревянные станки, в которых и формуются кизяки, похожие на большие кирпичи. Ровными рядами их выкладывают для первоначальной просушки либо перед домом на свободном месте, либо на задах. Через какое-то время переворачивают, чтобы кизяки подсохли и с другой своей стороны. В заключительной «стадии» из них возводятся пирамиды, иногда в целый человеческий рост высотой, да так, чтобы оставались небольшие отдушины для про-

ветривания; через неделю-другую кизяки высыхали настолько, что становились пористыми, легкими и их можно уже относить под навес и складывать там.

У меня был свой станочек. Его изготовил мне дедушка. Еще на старом дворе я не слонялся без дела около взрослых, когда Навозная куча превращалась в кизяки, но тоже трудился. Исполненный чувства несказанной гордости от сознания того, что приобщен к общим заботам, я с великим удовольствием отламывал от все уменьшающегося круга голыми, измазанными назьмом руками кусок за куском и укладывал в станочек. Маленькие свои кизяки относил в отдельный рядок. А потом и пирамидка моя стояла отдельно от других, с тем, чтобы все видели: это моя, а не чья-нибудь еще работа.

Как на дедушкином дворе, так и теперь я с большим нетерпением ждал момента, когда отец, старшие братья и пришедшие им на помощь дядя Петруха и дядя Пашка начнут разбрасывать кучу. Во-первых, потому, что двор в это время наполнится запахом необыкновенным, сотканым из множества других запахов, очень душистым, ни на какие другие иные не похожим. Его нельзя было отнести ни к лошади отдельно, ни к корове, ни к овцам, ни к свинье, хотя Навозная куча и была сотворена ими, но сотворена как бы в соавторстве, сообща. Это был коллективный труд всех жителей двора, за исключением разве что кур и Жулика. Во-вторых, а точнее бы сказать, во-первых, нетерпение мое подогревалось тем, что я надеялся в раскиданной куче отыскать пару преогромных навозных жуков, у которых были рога. Моей фантазии не составляло труда превращать их в волов и запрягать в телегу, в пустой спичечный коробок, который, как и полагается телеге, нагружался разным добром, как-то: горошинами, возведенными мною в ранг арбузов; маковыми семенами, то есть просом; зубчатыми бутончиками мелких трав, которые очень были похожи на крошечные белые тыковки,— они и были для меня настоящими тыквами. Коробок, то есть телега, заполнялась по наклейке, до краев, и отвозилась иногда одним, а чаще всего сразу двумя жуками-носорогами в определенное место для хранения. Упряжь, ярмо и прочее я мастерил из тонких волокон привяленных травяных стеблей, из ниток, а колеса существовали лишь в моем воображении,— вообще-то коробок влачился жуком или жуками волоком. Я лишь соломинкой давал направление их движению.

С не меньшим вожделением ждали разбора Навозной кучи куры, в особенности Тараканница. Она знала, что там, внутри, в перегное гнездится неисчислимое множество не только дождевых, но и других разных червяков и личинок, необыкновенно сочных и вкусных. Да нужно еще упредить подружек, чтобы они не подхватили перед самым твоим носом белого, с красной головкой, червя, который еще не превратился в жука. Он был такой большой, что одним им можно вполне насытиться.

Вот что обещала всем нам вырастающая посреди двора Навозная куча. Вот почему и пользовалась она повышенным вниманием. Даже не слишком заботливый относительно своего хозяйства папáнька, приходя из сельсовета на обед, нередко брал вилы и подправлял ее, а уж о маме и говорить нечего: она ухаживала за этим «сооружением» с тем же усердием, как и за скоти-

ной. Не только оправляла граблями, но следила за тем, чтобы в кучу не попало случайно стекло или черепки от разбитой посуды, о которых можно потом сбедить, порезать руки или, что еще страшнее, Карюхины ноги.

Ежели лето выпадет засушливым, мама примется сама и заставит всех нас, ее детей, таскать из нового колодца (благо, что он очень близко, сразу же за калиткой, в огороде) воду и поливать навоз, поливать до тех пор, пока он не задымится.

Навоз — это тепло в зимнюю стужу. А тепло — это жизнь.

Мама хорошо знала это. В последующие годы она будет подбирать коровяк и тогда, когда Рыжонка не донесет его до нашего двора, а уронит где-то на подходе к нему. Мать выйдет с ведром и бережно подберет лопатой свежие «лепешки», которых Рыжонка «испечет» с полдюжины. За этим занятием ее однажды подкараулит насмешливый Федот Михайлович Ефремов и не удержится, чтобы не предложить:

— Ты б, Ильинишна, на мой двор заглянула. Там этого добра сколько угодно.

Мать подождет, наморщит губы в обиде. Ответит:

— Мне твое добро, Федот, ни к чему. Оно у тебя шибко вонюче.

— А што, рази Рыжонкино не пахнет?

— Для меня — нет, не пахнет! — решительно объявит мать и, гордая, унесет ведро к нашей Навозной куче.

Федот сконфуженно потеревит свою длинную козлиную бороду, буркнет в нее:

— Ну и ну... Отбрила, проклятая баба. Вот тебе и тихоня!

8

Через неделю Перетóку перестали пускать в избу, чтобы она покормила своих близнецов. Их теперь самих выносили к ней либо в хлев, либо во двор, когда там на короткое время объявится солнечное пятно. Насосавшись, ягнята затевали на этом пятне веселую игру. Подпрыгивали, бодались безрогими покамест лбами (рожки у них едва обозначались чуть прощупывающимися бугорками); распалившись в беготне и прыжках, они по-козлячьи вскакивали на самую макушку Навозной кучи,— благо, она еще была невысокой,— сталкивали оттуда друг дружку, чаще всего катились кубарем вместе, как деревенские ребяташки.

Одевшись потеплее, я на это время тоже выбегал во двор и, усевшись поудобнее на завалинке, наблюдал за тем, как резвились двойняшки. Пытался и сам подключиться к их игре, но ягнята не хотели принять меня в свою компанию, обиженно убегали к своей матери и прятались под ее брюхом. Обижался и я на них,— рассердившись, уходил в избу, куда вскорости приносили и ягнят.

В один из таких-то вот дней и случилась первая на новом дворе беда. Случилась вопреки счастливому признаку и оптимистическим предсказаниям Федота Ефремова. Цепкая и беспощадная память во всех ужасных подробностях сохранила событие того дня.

Ягнят в положенный час, как обычно, вынесли во двор. По своему обыкновению, выбежал туда и я, занявши наблюдательный пункт на излюбленном месте — на завалинке. Насосавшись, ягнята в прежнем порядке принялись резвиться. В самый разгар их беготни и подпрыгиванья дверь свинарника хрястнула, отлетела вместе с засовом и крючками в сторону, а вслед за нею появилась сперва преогромная морда Зинки, а затем вывалилась и вся ее ошетилившаяся туша. Ягнята испуганно шарахнулись к матери, но Зинка успела подхватить одного из них за ногу и подмять под себя. Что было дальше, я не видел, потому что во весь дух, с отчаянным криком убежал в избу. А когда вместе с отцом, оказавшимся в тот час дома, выскочил опять во двор, страшное дело было уже сделано.

Ягненок, которого Зинка настигла первым, валялся посреди двора, у кромки Навозной кучи, валялся без всех четырех ног, которые были отгрызены свиньей и разбросаны в разные стороны ее окровавленным рылом. Ягненок был еще живой. Ослезившимися, недоумевающими, невинно-херувимьими своими глазенками он смотрел вокруг себя, как бы спрашивая: «За что же меня так?.. Я ведь только играл со своим братом...

А брат уже был тоже задавлен, и свинья продолжала пожирать его, полуживого, не обращая внимания на то, что папáнька изо всех сил колотил ее подвернувшейся под его руку палкой, и оставила своё страшное занятие только тогда, когда отец выдернул из навозной кучи железные вилы. Увидав это, Зинка с визгом убежала — не в свой, однако, свинарник, а в Рыжонкин хлев. Отец ринулся было туда вслед за нею, но вовремя сообразил, что одному ему не справиться с громадным осатаневшим зверем. Быстро подперев дверь бревном, приказал мне сбегать за Федотом Ефремовым и дядей Пашкой. С помощью этих здоровенных мужиков отец надеялся рассчитаться с преступницей.

Федот пришел первым, поскольку жил поблизости от нас. Немного спустя объявился и дядя Пашка. Вид несчастных полуубиенных воспламенил праведным гневом и этих двоих богатырей. К тому же прирезанная ими свинья обещала обязательную при таком случае жареную печенку на закуску и чарку для услады души. Потому-то Федот Михайлович и поторопил папáньку:

— Ну, неси нож, да подлиннее. Да кинь ты эти вилы! — Говоря это, Федот сбрасывал с себя полушубок, засучивал выше локтей рукава. То же самое делал и дядя Пашка. Исполненные бойцовского мужества, они были готовы к схватке с десятипудовой Зинкой.

Вооружившись длинным ножищем, коим мама обычно выскабливала большой наш семейный стол, мужики решительно шагнули в хлев, велев хозяину плотнее замкнуть за ними дверь бревном и не открывать ее до тех пор, пока они не покончат с Зинкой.

Почувяв смертельную для себя опасность, свинья с диким ревом заметалась по коровнику. Федот Ефремов и дядя Пашка пытались загнать ее в угол и там заколоть, но не тут-то было — Зинка вовсе не хотела так легко расставаться с жизнью.

Отец, стоявший за дверью все с теми же вилами и подпиравший ее уже и своей спиной, чувствовал, что битва там, внутри хлева, принимает нешуточный оборот

и исход ее непредсказуем. Свинья редела, мужики матерились на чем свет стоит. Их жуткая брань и свинячий вопль всполошили весь двор: куры разлетелись по крышам, Карюха, стоявшая у саней, отозвалась тревожным ржанием, смиренная Рыжонка отошла на всякий случай поближе к сениям, Жулик не переставая гавкал. Я забрался к нему на завалинку и там, дрожа вместе с ним по-щенячьи, ожидал, чем же закончится это сражение. Вскоре услышал отчаянный стук в дверь изнутри, сопровождаемый столь же отчаянным криком Федота:

— Открывай же скорей!.. Какого ты х... стоишь там!

Отец отшвырнул бревно, и в ту же минуту из хлева, тесня друг дружку, выскочили наши отважные бойцы. Оба были забрызганы кровищей, и своей и свиньи. На обоих на лоскутья разорваны, располосованы не только рубахи и штаны, но и валенки. У Федота, кажется, пострадала даже его великолепная борода — сейчас она не скатывалась плавно на его мощную грудь, а топорщилась в разные стороны жалкими прядями. Дядя Пашка потерял в бою оба валенка и теперь топтался на снегу почти что босой.

— Ну, что? — Отец на всякий случай вновь запер дверь, а Федот и дядя Пашка чутко отдышались после кровавой схватки, «обрадовали»:

— С ней, зверюкой, сам черт не справится. Тут артель нужна... Ну да ничего! Мы ей такого надавали, што долго помнить будет! — Сказав это, Федот подхватил полушубок; накинуд его кое-как на плечи и с гордым видом победителя пошел со двора, ни разу не оглянувшись.

Отец и его младший брат стояли на прежнем месте, до крайности растерянные.

— Ну, я пойду, пожалуй, — буркнул дядя Пашка, направляясь к калитке. Откуда-то, с улицы, пообещал: — Ужо приду, подмогну как-нибудь!

Папáнька только махнул рукой:

— Пошли б вы к лешему, «помощники»! — И подумал: «Погожу маненько. Может, израненная ими Зинка догадается сама издохнуть!» — Мысль эта немного подбодрила отца, и он начал поскорее свертывать сигарку.

Но Зинка думала несколько иначе. Судя по дальнейшему ее поведению, она решила продать свою жизнь подороже: собравши последние силы, десятипудовой массой двинула в дверь так, что та распахнулась настежь, отбросив далеко в сторону злополучное бревно вместе с хозяином. И худо пришлось бы папáньке, не окажись он за откинутой прочь дверью. Набравшись решимости, отец вновь подхватил вилы, догнал израненную неудачливыми бойцами свинью уже на середине двора и вонзил ей в бок все четыре длинных железных зуба.

Зинка с отвратительным воплем носилась вокруг кучи, увертываясь от вил, которыми отец намеревался покончить с нею. Два или три следующих удара оказались меткими, потому что сейчас над свиньей уже в нескольких местах бились тонкие фонтанчики крови. Она, эта кровь, видать, возбуждала в отце еще большую ярость. Гоняясь за зверем, он уже и сам рычал по-звериному, вкрапывая в сплошную ругань такие перлы матерщины, каких никто и никогда от него не слыхивал.

Раненая полусвинья-полувепрь вдруг остановилась, резко крутнулась и через какой-то миг перешла в контратаку. Но этого мига, к счастью, оказалось достаточно, чтобы родитель мой заячьим скоком отпрянул в сторону, и Зинка проскочила мимо. В злобном помутнении она устремилась на Карюху, которая по-прежнему стояла у саней в дальнем конце двора и откуда настороженно наблюдала за происходящим. И Карюха, старая наша Карюха, сделала то, чего не смогли сделать трое вооруженных мужиков: она встретила Зинку точно выверенным ударом подкованного по случаю зимы копыта. Удар был так силен, что оказался смертельным даже для такого могучего животного. Вгорячах, в злобном ослеплении подскочивший к свинье хозяин раз за разом продолжал вонзать в нее длинные зубья вил, но в этом не было уже никакой необходимости.

Жуткая тишина на какое-то время повисла над двором. Ее нарушил Жулик, вновь огласивший двор теперь уже не лаем, а потрясающим душу воем, посвоему озвучивая эту неожиданно разыгранную Зинкой драму на тихом недавно, не предвещавшем вроде никаких потрясений подворье.

Зажавши коленками собачью голову и стараясь таким образом удержать, унять хоть немножко в общем-то неудержимую дрожь и в них, и во всем теле, я потихоньку плакал, не плакал даже, а подвывал Жулику.

Отец все еще стоял с вилами, когда во дворе вновь появился Федот Михайлович. Видать, он устыдился, что покинул друга в тяжелую для него минуту, и вот теперь вернулся. Он с немалым трудом вырвал вилы из папáнькиных рук и отбросил их далеко в сторону, сказав при этом:

— Ишь разбушевался, Аника-воин! Чего доброго, ты ищо и меня пырнешь в пузо. — Глянув на поверженную свинью, добавил: — Ну, и стерва!.. А я што тебе говорил?.. Не покупай у того салтыковского дурака вместо свиньи оборотня.

Федот ничего такого не говорил отцу. Он даже и не знал о совершенной отцом купчей. Но ему искренне казалось, что он предупреждал отца о грозящей ему беде. Да и сам папáнька вроде соглашался с тем, что его в самом деле предупреждали, и делал это не кто-нибудь еще, а именно мудрый, всезнающий Федот, — кому ж еще быть, кроме него?!

Придя немного в себя, отец крикнул всем нам сразу:

— Ну, а вы какого тут черта вертитесь?.. Марш в избу!

Мы подчинились, исполнили грозное приказание, но не все: Ленька успел шмыгнуть в хлев, затаился там и, прильнув к одной из многочисленных щелей в его стене, наблюдал за дальнейшим. Он хоть и не слышал, но видел, что отец и его друг о чем-то договариваются. Видел и то, что папáнька сходил в хлев и вернулся с длинным ножом, вышибленным Зинкой из рук ее врагов. Взяв его у отца, проверив большим пальцем, хорошо ли он наточен, Федот пригнулся, для чего ему потребовалось переломить непомерно длинное тело надвое, примерился и во всю длину располыхнул Зинкино брюхо. Ленька видел, как оттуда, вслед за черными шматками запекшейся крови, одного за другим, будто горошины из гигантского стручка, Федот Михайлович извлек две-

надцать, то есть целую дюжину крохотных, совершенно еще голых, красненьких поросят-недоносков.

Выпрямившись, стряхивая с пальцев кровь, Федот спросил:

— Што будем делать с тушей, Миколай Михалыч?

— Ежли хочешь, выкинь ее к чертовой матери в какую-нибудь поганую яму. А я на нее и глядеть не хочу! — Отец демонстративно отвернулся и, выхватив из кармана кисет, начал торопливо, все еще дрожащими пальцами скручивать очередную сигарку.

— А поросят?

— И поросят заberi вместе вон с энтими. — Папáнька указал на ягнят, из которых один, безногий, был еще живой. — А этого прирежь поскорее, Михалыч! Не могу глядеть на него! — прибавил почти враждебно. — Закопашь где-нито на гумнах.

Это были последние слова, услышанные Ленькой от папáньки в тот день. Пережитого им за каких-нибудь полчаса было так много и давило на душу так невыносимо сильно, что, похоже, отец решил скрыться с глаз долой и от семьи, и от дома, и, главное, от самого себя, что всякий из нас пытается безуспешно делать в горчайший час жизни. Более недели, уйдя из дому, отец пропадал где-то. Ему было все равно, как поступил со свиней тушей Федот, куда он дел поросят и ягнят, как там жена, дети, — на все ему было наплевать, потому что, не будучи пьяницей, он, как потом мы узнали, пил все эти дни и ночи, что называется, беспробудно.

Отыскал его у Селянихи опять же Федот и привел домой.

Они сидели за столом. Посреди стола, как уж водится, стояла бутылка, поставленная, однако, не хозяином, а Федотом Михайловичем Ефремовым. Он же и предложил:

— Опохмелись, Михалыч? Не кручинься больно-то, не убивайся. Не велика беда. Ягнят тебе народят целую кучу другие овцы. А свинья... што ж, туда ей и дорога! Я ить, Михалыч, и ее закопал вместе с ее потомством. Черт ее душу знает, можа, бешеная. А ягнят — отдельно. Не мог я похоронить их, невинных, вместе с этой кровожадной тварью. А ить, Михалыч, виноваты во всем мы, люди.

— Это как же? — Отец поднял отяжелевшую от самогона, а больше, кажется, от нерадостных дум голову и глянул на Федота с угрюмым любопытством.

— А вот так. Не надо совать наш нос в природу. Сунемся — жди беды. Нечистый его дернул, салтыковского олуха, скрестить свою свинью с диким кабаном.

Отец вяло усмехнулся:

— Она сама скрестилась. Не спросила его разрешения.

— Положим, так. А за каким хреном он пустил ее поросят в продажу, на развод? Ты думаешь, ваша Зинка одна такая?..

9

Мало-помалу все в нашем доме успокоилось. Только мать пребывала в накрепко поселившейся в ней тревоге. Ее не покидала мысль о том, что одна беда в дом не приходит: за первой жди вторую. И мама ждала эту

вторую в затаенном напряжении. Так она встречала каждый новый день. Однако новый день приходил и приносил нам не беду, а радость.

Вскоре после гибели первых ягнят старая овца по кличке Коза, бабушка «убиенных», верная себе, принесла опять двойню. Остальные четыре овцы (всего нам было выделено шесть) не заставили себя долго ждать. В течение каких-нибудь пяти-шести дней обьягнились и они. Принесли, правда, не по два, а по одному ягненку. Даже самая юная из них, которую называли не иначе как ярчонка и от которой в эту зиму вообще не ожидалось потомства, обьягдилась и она. Ягненок ее был величиною с варешку, но все равно ягненок, из коего в свой час вырастет овца.

Овцы будто бы сговорились, чтобы утишить, пригасить маленько горе хозяйки — их главной заботницы. Тогда я в первый раз заметил, как на маминых губах дрогнула улыбка, она же засветилась и в глазах, но тут же, словно испугавшись чего-то, исчезла. Обьявилась опять двумя неделями позже, когда мать увидела, что Рыжонка «завымянела», что она отелится на этот раз намного раньше, чем в прежние годы, что у коровы начинает припухать власьце¹. Теперь мать не могла уж удерживать, прятать улыбку в себе — выпустила ее наружу, отчего сразу помолодела, что-то свежее, девичье обьявилось на ее лице вместе с этой улыбкой.

У мамы к тому же хватило выдержки и мудрости на то, чтобы не напоминать мужу о приобретенной им окаянной свинье. Она видела, что он и сам казнится, страдает не меньше, а может быть, даже больше, чем она сама, и ее напоминание могло бы разрешиться у него страшным взрывом, от которого досталось бы всем в доме. Папáнька, видать, по достоинству оценил мамин такт и был с нею непривычно добр, и, кажется, даже ласков. Какое-то время он приходил домой рано, не засиживался до вторых петухов у дружок-собутыльников, не ночевал у Селянихи. Мать радовалась такой перемене в муже, благодарила свою заступницу — Матерь Божью, стоя подолгу на коленях перед образами, когда все ее домочадцы погружались в сон.

Весна в тот год была поздней, но зато дружной. В три дня снег, которого навалило очень уж много, превратился в ревущие потоки. Спустившись по многочисленным оврагам с гор, они устремились вниз, добрались до Баланды, и умолкшая на всю зиму, закованная в двухметровую толщу несокрушимого, казалось, льда, река в одну ночь вскрылась, пробудилась от долгой спячки под надежным покрывалом. Громовые раскаты лопающихся ледяных громадин прокатились над рекой; освобожденная от оков, она теперь уже сама двинулась навстречу горным потокам, соединилась с ними, быстро затопляя все, что было выше ее уровня: лес, поляны, просеки, сады, огороды и ближние к реке избы со всеми дворовыми постройками.

Не только куры, но и коровы, овцы в таких дворах за-

¹ Слово это произошло от святого Власа, покровителя коров.

бирались на навозные кучи, пережидая там, пока река покличет воду опять в родные для них берега (нередко такое ожидание растягивается на неделю). Луга, Большие и Малые, превратились в моря. На них уже плавали не только стада разнородных диких уток, но и пролетные лебеди. Последние сказочным белым видением возникали на водной глади подальше от села, от людей, и, зачарованный этим зыбким ослепительной красоты миражом, я буду сидеть на горе и час, и два, и много-много еще часов подряд, сидеть и наблюдать заслезившимися от счастливого волнения глазами, как эти явившиеся прямо из сказки крылатые существа кружат вдали от меня, неслышно скользят по воде, которой вчера еще тут не было, то отходят друг от друга, то сближаются, любуются сами собой и себе подобными, а затем так же внезапно, как и положено миражам или призракам, исчезнут с моих очарованных, наполненных слезами уже не радости, а глубокой, неизбывной печали глаз: ведь такого видения придется ждать еще целый длинный-преддлинный год.

В первое утро набравшего самой высокой отметки половодья мне было приказано матерью попасть Рыжонку где-нибудь подальше от общего стада, которое Тихон Зотыч в первый раз тоже выгнал на склоны оврагов, раньше других мест освободившихся от снега и успевших покрыться чуть заметной среди прошлогоднего, замершего под снегом полынкой травкой. За три недели до этого Рыжонку перестали доить, дали ей немножко отдохнуть, набраться сил за короткий свой «отпуск».

Я пригнал ее на Гаевскую гору, откуда хорошо были видны и дома, и крыши риг на Малых гумнах, и кресты на могилах, и, главное, залитые вешними водами Малые луга, и лес за лугами, и макушки яблонь и вишен в садах, соединяющихся с лесом, и купающиеся в ярких лучах восходящего солнца золотые купола сразу трех церквей — одной православной и двух кулугурских, то есть старообрядческих. Во всех церквях звонили к заутрене. Вслушавшись, я хорошо различал басовитый голос большого колокола в моей, православной, церкви и еще подумал, как бы хорошо было взобраться сейчас по винтообразной деревянной лестнице на колокольню и разика два дернуть за веревку и ощутить радостную дрожь во всем теле от рева медной, заляпанной голубиным пометом махины, и увидеть, как от извлеченного тобою мощного этого рева, вспугнутые им, поднимаются и кружатся над церковью вперемежку стада голубей, галок, воробьев и скворцов, для которых всегда не хватает скворечников, и предприимчивые эти пернатые находят место для гнездовья в бесчисленных складках сельского храма.

Мысль о колоколах, о возможности самому позвонить в них сейчас же отлетела от меня, когда я увидел сперва белое, подзолоченное снизу солнышком небольшое облако. Оно появилось откуда-то из-за леса, покружилось немного над залитыми полой водой лугами; кружась, опускалось все ниже и ниже, и вдруг, разделившись как бы на отдельные невесомые, то белые, то вновь подзолоченные лоскутки, неслышно засколь-

зило по воде, постепенно обретая в моих глазах вполне определенные очертания. «Да это ж лебеди!» — не то крикнул, не то только подумал я и вспыхнул, воспаленный неожиданным открытием. Оглянулся на Рыжонку, которая паслась под наблюдением Жулика недалеко за моей спиной, удивился, что ни корова, ни собака не обращают решительно никакого внимания на то, что привело меня в сильнейшее волнение. «Глупые!» — подумал я о них и, уже не отрываясь, следил за лебедями до тех пор, пока они тем же облаком не снялись с воды и не исчезли за лесом.

Мне было уже неинтересно оставаться на Гаевской горе. Рыжонка да и Жулик, который к этой минуте отыскал сусликовую норку и занялся было ею, похоже, очень удивились, когда я решил вернуться домой явно раньше срока. В не меньшей степени удивилась и мать, когда увидела всю нашу компанию во дворе.

— Ты что же, сыночка, так рано вернулся, не дал Рыжонке попасистись?

— Она сама не захотела. Попросилась домой, — не моргнув глазом, соврал я. Кажется, не только мать, но и Жулик ухмыльнулся на мое столь очевидное вранье.

— Ну, што ж, сынок, придется, видно, мне завтра самой повести Рыжонку...

— Нет, мам!.. Я больше не буду! — Это мое «больше не буду» всегда выручало меня при моих провинностях перед матерью, перед бабушкой и даже перед грозным отцом, когда тот, услышав такое заклинание, убирал ремень, который готов уж был прогуляться по моей спине. Отец, разумеется, знал, знали и другие, что мне не сдержат клятвы, что я забуду про нее на другой, если не в тот же день, но почему-то не наказывали меня.

Однако обещание матери не пригонять Рыжонку с пастбища раньше указанного часа я сдержал. Приводил ее к Правикову пруду, который находился недалеко от Гаевской горы, только в полдень, чтобы попить, и затем снова угонял на прежнее место до самого вечера.

В какой-то из таких дней заметил, что Рыжонка пасется неохотно, вяло, тяжело носит широко раздувшимися боками, вздрагивает, когда внутри под этими боками ворохнется что-то настойчиво-нетерпеливое, то и дело ложится отдыхать. И когда с легким стоном легла в очередной раз, откинула далеко назад голову, мученически расширила глаза и выпустила кончик зажатого в зубах языка, и когда позади нее вдруг возник большой прозрачный пузырь, я так испугался, что заорал на всю степь, напугал этим криком Жулика так, что он ударился в село, далеко опережая меня, устремившегося со всех ног туда же.

Был обеденный час, когда добежал до своих ворот.

— Мам... Ма-а-а-ма!.. Родненькая-а-а! — орал я, не находя деревянной вертушки, чтобы открыть калитку.

— Что, что случилось? — всполошился отец, а мама, выскочившая во двор вместе с ним, сперва помучилась, потом вобрала голову в плечи, как бы ожидая страшного удара. — Что, что случилось? Говори же поскорее, паршивец! — кричал отец.

Но мне не хватало воздуха. Я ловил его раскрытым ртом, с трудом выдавливая из себя:

— Рыж... Рыжонка помирает...

— Как помирает? Что ты мелешь?..

— Она лежит, а из нее... большой-пребольшой пузырь!..

Если б я мог соображать что-либо в тот час, я бы, наверное, удивился, что последние мои слова не только не напугали еще больше мать и отца, а произвели обратное действие. Услышав их, родители переглянулись понимающе. На лице матери мертвенная бледность уступила робкому румянцу, на воспаленно-сухих глазах появились слезы откровенной радости. Сперва нерешительная, улыбка на ее лице разливалась все шире, и теперь уже мама как бы сама вся светилась, что бывало с нею в минуты редкого счастья. Она заторопилась:

— Запрягай поскорее Карюху, отец!

Часом позже мы везли от Гаевской горы еще мокренького теленка. А за телегой, не отставая ни на шаг, бойко шла Рыжонка, хотя быстрому ее шагу мешало огромное вымя, к которому она так и не успела подпустить свое дитя.

Впереди, как ему и полагалось, бежал Жулик и лаял на все стороны, готовый защитить то, что находилось в телеге. Пес все-таки успел лизнуть скользкое копытце теленка, когда его забирали у Рыжонки, и на этом основании мог считать себя причастным к совершившемуся, определенно важному для его хозяев событию.

Первое молоко было для нас, людей, несъедобным. Мать надоила его целое конное ведро, и по цвету оно было похоже скорее на притомленные в печи сливки — желтое и очень густое. Пройдет несколько дней, прежде чем молозиво станет молоком и обретет свой естественный белый цвет, а главное, то, что его дадут не только теленку, но и нам. А пока что мы возделенно ждали этого дня, и неделя казалась нам бесконечно длинной.

В эти медленно тянущиеся дни я завидовал и теленку, и коту Ваське, и Тараканнице, которая, подкравшись к Васькиному блюдцу, попивала вместе с ним молочко. Ваське было лень отогнать ее. Налакавшись и будто нарочно дразня меня, он не спеша облизывался, доставал при этом розовым, похожим на кочадычок¹, языком до самых своих ушей; я знал, что, наловившись, кот отправится на подлавку, свернется калачиком возле боровка, в излюбленном своем месте, и проспит до вечера, до очередной дойки. Мыши спокойно могли разгуливать по чердаку, сновать возле Васькиного носа — кот и ухом не поведет, отдавшись целиком блаженнейшему состоянию лени. Думается, из всех существ в доме и во дворе Васька был единственным, кто не отработывал «свой хлеб», сиречь молоко; от всех остальных была хоть какая-то, но польза. Ваську, однако ж, нисколько не смущал откровенно паразитический образ жизни, он не тяготился совестью и принимал как должное то, что его кормили наравне со всеми. Более того: подойв корову, мама

¹ Приспособление для плетения лаптей.

наполняла Васькино блюдо раньше чем кому бы то ни было, для нее Васька был таким же членом семьи, как и мы все, и должен получить свое. Откровенно говоря, и мы сами немало опечалились бы, если бы вдруг Васьки не стало в доме. Почему? Ответа на такой вопрос не существует. Мама привыкла к тому, что при доении коровы Васька ластился у ее ног, мурлыкал добродушно и терпеливо ждал, не в пример Тараканнице, не соваля своего носа в подойник прежде времени,— попробуй-ка откажи ему потом!

Меня вполне устраивало то, что кот не трогает моих кроликов, которых от Ванькиной пары развелось более дюжины. Таким образом, чудовищная лень Васьки была на руку не только мышам, но и мне. К тому же я знал, что следующим за Васькой молоко получу я. Почти без передыха я выдувал полную кружку этого теплого, вкусного, необыкновенно пахучего чуда и оставался сытым в течение всего дня: В отличие от кота Васьки, я не зря пользовался такой «привилегией»: весной пас корову до ее отела, а теперь, летом, хожу ее встречать к Панциревскому мосту за целый аж километр.

Нашему селу Монастырскому принадлежала еще какая-то, вовсе не малая, часть земли за деревней Панциревкой. Приобрели ее наши мужики в пору столыпинской реформы¹ в виде отрубов и теперь выгоняли туда коров на пастбище.

Через речку Баланду был перекинут мост, соединивший Панциревку с моим селом. Через него и уходило поутру и возвращалось в вечерние сумерки коровье стадо. Оно было так велико, что на проход через мост ему требовалось не меньше часа. На утренней заре, как уж водится, коров выводили в общее стадо, под охранительный кнут Тихона Зотыча, женщины, встававшие раньше всех в доме, ложившиеся позднее тоже всех — такова уж участь сельских жительниц. Вечером коров встречали мы, ребяташки. Для меня, как и для моего друга Ваньки Жукова, такая обязанность не была обременительной. Мы охотно, задолго до прихода стада, прибегали к Панциревскому мосту, к Вишневому омуту и либо, соревнуясь в удали, заплывали на самую его середину, что считалось весьма рискованным (там, посредине, уверяли нас взрослые, может подхватить смельчака круговерть и утащить на дно), либо взбирались на макушку высокой песчаной насыпи для будущей плотины и кувыркали там, сталкивая друг дружку вниз; оказавшийся низвергнутым не обижался, а быстро, с хохотом и воинственным кличем вбегал наверх, чтобы столкнуть товарища, а не удастся, стащить вместе с собою вниз за ногу и хоть таким манером ощутить радость победителя.

Возня прекращалась, когда над ближайшей к мосту улицей Панциревки подымалось плотное облако пыли и слышалось нетерпеливое мычание угнетенных полным выменем коров. Перед мостом они

как бы выныривали из-под серого облака, и самые сильные, с гордым, независимым видом, высоко вскинув головы с длинными, остерегающими нас, мальчишек, рогами, первыми ступали на мост.

Ванькина Лысенка, к немалому моему сожалению, неизменно оказывалась среди этих первых. Кажется, из всего стада она была единственной, за которой кроме собственного имени числились еще и совсем нелестные прозвища, а именно: Нахалка, Непутевая, Отбойная и еще какие-то, близкие по значению к этим.

Встретив ее, Ванька с ловкостью, не соответствующей его возрасту, накидывал на страшные рога веревочную петлю, и громадная корова покорно повиновалась. Она, видно, и сама знала, что иначе с нею и нельзя. Окажись на свободе, Непутевая по пути домой заглянет не в один чужой огород с известными последствиями для него, и Григорию Яковлевичу Жукову, Ванькиному отцу, придется выкручиваться перед хозяевами пострадавшего огорода, а то и возмещать им урон, каковой может оказаться немалым: прожорливость Непутевой не знает границ! С чудовищной жадностью она может ежели не сожрать все тыквы целиком, то поранить каждую успеет...

Ванька, значит, уходил, а я, осиротев, должен был оставаться на месте еще не меньше часа: немолодая, обладающая тихим нравом, несущая нам ведро молока, моя Рыжонка плелась где-то позади всех коров. А перед мостом она еще останавливалась, пережидала и уже в полном одиночестве, не опасаясь, что ее могут столкнуть в реку, двигалась дальше. Завидя меня, коротко взмывала, мотала головой, как бы здороваясь.

В село мы приходили с Рыжонкой, когда ушедшее впереди нас стадо растекалось пестрыми ручьями по многочисленным улицам и проулкам. В разноголосое мычание отовсюду вторгались бабьи призывные выкрики: «Пестровка», «Зорька», «Красавка», «Звездочка», «Белянка» и даже «Малинка». Это хозяйки звали своих коров домой. И лишь теперь, много-много лет спустя, я вспомнил, что у всех коров были свои имена, и имена эти, за редчайшим исключением, были чрезвычайно ласковые, красивые. Среди них имя Рыжонки было, пожалуй, самым непритязательным. Но я-то был уверен, что оно было прекрасным, таким, каким только и могло быть.

Усталая, однако ж счастливая оттого, что пришла наконец домой, пахнувшая пылью вперемешку с пылью и еще с какими-то неведомыми, незнакомыми для меня травами, среди которых паслась целый долгий день, с набитым до краев брюхом, Рыжонка тем не менее прибавляла ходу, решительно направлялась прямо к кадушке с приготовленным для нее пойлом и сейчас же припадала к нему, погружив морду по самые ноздри. Наслаждаясь, она с не меньшим удовольствием слушала еще ласковый голос хозяйки. Осенив сперва себя крестным знаменем, мама делала то же самое и с Рыжонкой, обходя ее с левой на правую сторону.

— Попей, попей, моя золотая. Скусно, поди? Это ить не полынь-трава, по которой иной раз гоняет вас тот Нечистый...

¹ Петр Аркадьевич Столыпин был тогда саратовским губернатором. Проезжал однажды через наше село, и мой дедушка был в составе депутации, встречавшей его хлебом-солью, за что впоследствии был едва не раскулачен.

«Нечистый» — это, конечно, Тихон Зотыч, который нередко (не по злему умыслу, конечно) действительно выводил коров на полынный участок залежного поля, и тогда молоко у коров получалось таким горьким, что его в рот не возьмешь. Да и пахло оно полынью. Запах этот вообще-то хорош, когда касается твоих ноздрей где-нибудь в степи, но он же в высшей степени неуместен в молоке. А в день, о коем идет речь, мама была не права. При доении капельки молока попадали и на ее губы, и она могла убедиться, как они, эти капельки, были сладки и душисты.

Доение длилось что-то около часа, и мать, чтобы не стоять на корточках, ставила для себя низенькую табуретку, привезенную вместе с другими вещами с дедушкиного двора. Так у нее могли уставать разве что руки, но не спина и ноги. Ей помог ли еще привычные, радующие душу звуки молочных струй, падающих в подойник из-под ее сжимающихся и разжимающихся, как бы массирующих упругие соски, пальцев.

За маминой спиной уже дежурили Васька и Тараканница. Да и Жулик сидел недалеко от них. Он тоже ждал, совершенно уверенный, что не будет обойден.

10

Как и предполагалось, за зиму жители нового нашего двора привыкли к нему настолько, что вроде бы совсем забыли о старом, дедушкином, как все его называли. Когда овечье стадо взбаламученною, бесконечной, кажется, рекой, под еще более плотным, чем у коров, облаком серой пыли стекало с горы и двигалось дальше мимо нашего огорода, старая Коза решительно поворачивала вправо и через открытую калитку вводила свою семью во двор. Двор тотчас же заполнялся единственным в своем роде запахом овечьего пота и свежих орешков, которыми эти милые животные щедро посыпали все свободное пространство между хлебом и плетнем. Послonyaвшись немного, хорошенько отфыркавшись, прочистив ноздри, овцы ложились вразброс, почему-то всегда поближе к Навозной куче, в свою очередь источавшей теплый душистый парок. Овцы спешили набраться сил на весь следующий день, который проведут в основном на ногах да еще в непрерывном движении, чтобы не остаться голодными: тысячи, десятки тысяч им подобных, не поднимая голов, быстро перемещаются по степи и словно бритвой подчищают все, что попадает под их острые, неутомимо работающие резцы, — так что тут не зевай! Недаром же умудренная жизненным опытом Коза старается идти впереди стада и увлекать за собой «своих». Потому-то все они возвращаются сытыми и могут спокойно, тихонько пережевывая серку, отдыхать.

Полной неожиданностью для нас, а для меня в особенности, было поведение Рыжонки. В первое лето несколько раз она норовила завернуть на старый двор, мимо которого шла дорога от Панциревки, и проявляла при этом несвойственное ей упрямство, так что мне приходилось пускать в дело кнут, сплетенный старшим братом Санькой под змейку из тонких ремешков сыромятной кожи. Признаться, мне тоже страшно

хотелось заглянуть к дедушке, такое желание у нас с Рыжонкой было общим, но я все-таки находил в себе силы не поддаваться соблазну, кричал на корову, стараясь придать мальчишью голосу побольше строгости, даже вкрапывал в свою повелительную речь какое-то количество грубых мужицких слов, совершенно справедливо полагая, что они действуют на домашних животных вернее всякого бича. Я мог убедиться в этом на опыте своего отца, виртуозного матерщинника, и на практике Ваньки Жукова, пускавшего в дело густо посоленные выражения, когда его Непутевая собиралась направиться не туда, куда ей полагалось. При этом Ванька часто забывался и продолжал матюкаться, когда Лысенка была уже на их дворе. Тут уж мой дружок сам получал звончайшую затрещину от отца, подловившего малолетнего сына на непозволительных словосочетаниях: Григорий Яковлевич оставлял такое право исключительно за собой и другими мужиками.

На этот счет я был похитрее Ваньки, переставал ругаться еще на дальних подступах к дому и таким образом избегал заслуженного в общем-то наказания. Мне это удавалось, может быть, еще и потому, что Рыжонка была более дисциплинированной, чем Ванькина Лысенка, она через какое-то время оставила даже мысль оказаться хотя бы еще разик на старом дворе. А вот Жулик — тот не мог пробежать мимо прежнего дома, когда подвернется подходящий момент. А коли не подворачивался, Жулик создавал его сам: захочется ему навестить старого хозяина, пес убежал к нему, ни у кого не спрашивая разрешения. Летом, когда дедушка находился в саду, Жулик большую часть времени жил с ним, лишь изредка проводывал меня. Мне такое его поведение не особенно нравилось. Я откровенно ревновал Жулика к дедушке и, чтобы пес не отвык от меня совершенно, сам на целый день, до встречи коров, убежал в дедушкин сад с твердым решением как-то выказать Жулику свою обиду. Но хитрец ловко упреждал мои действия. За полверсты выбежал мне навстречу, с ходу кидался на плечи и успевал несколько раз кряду лизнуть меня длинным своим, малость шершавым языком. Этого было достаточно, чтобы от обиды моей не оставалось и следа. Теперь мы неслись в сад во весь дух уже вдвоем. И нам было очень весело.

Коровье и овечье стада были в моем селе очень большими. И было их не по одному, а по два, и в каждом насчитывалось либо по несколько тысяч голов, коли речь шла об овцах, либо по несколько сотен, коли это были коровы. Начиная с 1923 года и вплоть до 1929 года поголовье стремительно увеличивалось и к концу двадцать восьмого года достигло небывалого за всю долгую историю села Монастырского уровня. Это было похоже на обидно короткий по времени Ренессанс крестьянского двора, на моей Саратовщине, по крайней мере. У Сергея Денисова, например, овец было не менее шести сотен. Они заполняли не только весь внутренний, но такой же

обширный задний двор. Правда, Федот Михайлович Ефремов уверял, что вместе с его овцами к Денисову приходило немало и чужих, кои якобы присваивались жуликоватым, равнодушным к чужому добру мужиком. Может, оно и так — Федот не из тех, кто возводит на других людей напраслину. Однако не сам же Сергей загонял к себе не своих овец. Ежели они заходили к нему подхваченные самым многочисленным на селе гуртом Денисовых, то что с ними поделаешь? Наутро Сергей честно выпускал их вместе со своими в общее стадо. Отыщутся хозяева — хорошо. Не отыщутся — тоже не беда. Через пяток дней эти чужие, глядишь, привыкнут к новому месту так, что оно станет для них своим со всеми, как говорится, последствиями и для них, и для вновь обретенного хозяина. Только и всего. Никто их не присваивал, они сами присваивались...

Поутру, на выгоне, где собиралось стадо, можно было слышать переключку хозяек:

— Матрена! К вам не приблудилась моя ярчонка?

— Нет, не приблудилась. У нас у самих две овцы на чужом дворе ночевали. А ноне вот объявились. Так что не тужи: отыщется и твоя ярчонка.

Отыскивались, конечно, ярчонки, но не всегда. Двумя годами позже на нашем дворе случилось следующее. Старая Коза, предводительница быстро разросшейся овечьей семьи, привела как-то вместе со своими еще и чужую овцу. Мать, как делала это не раз, не стала выгонять ее, а оставила до утра. Утром, однако, недосчиталась одной овцы. И не чужой, а собственной. И виновником происшествия был мой средний брат Ленька, пристрастившийся к карточной игре. Пусть играл бы он в козла, в подкидного, в дурака или в какие-то еще безобидные игры. Так нет: играла в очко, на деньги, которых у него, конечно, не было и которые, конечно, как-то надо было добывать. К мало похвальной и еще менее позвольительной этой страстишке братца моего приобщил Колька Денисов, племянник помянутого мною Сергея Денисова. Накануне они вчистую продулись, да еще и задолжали мужикам, которые ожидали возвращения долга не позднее следующего вечера. Что тут было делать нашим друзьям? Тут-то Ленька и вспомнил о чужой овце, оказавшейся на нашем дворе. Решение было принято быстро, без малейшего колебания: в полночь, когда все в доме и во дворе уgomонятся, увести глупую овечку и запродать, благо купец всегда отыщется. Ну, и увели. Но не чужую, а свою: кто их, к черту, разберет в темноте-то, да еще в лихорадочной спешке, в какой совершалась вся операция?

Из всей семьи один только я слышал возню во дворе, один лишь я мог назвать преступников. И назвал бы, если бы среди них не было Леньки, моего любимого брата. В ту ночь, как и в прежние ночи, я спал на сеновале и все слышал. Слышал утром и встревоженный голос матери.

Я помалкивал.

Отец сделал было попытку отыскать злоумышленника или злоумышленников, но скоро остыл, примирился с пропажей. «Ну и черт с ней!» — поругал он мысленно ярчонку, будто она виновата в том, что ее

увели. А Федот «прокомментировал» событие известной пословицей, которую с каких-то пор переиначил так, что она получила прямо противоположный смысл: «Что бы ни случилось, все к худшему!» Отец хмыкнул: «Спасибо, успокоил!»

Этим все и закончилось. Даже мать не шибко страдала. Повздыхала малость, поохала, а потом и вовсе успокоилась: «Бог дал, Бог взял». Ну, а на Бога она не могла гневаться, чтобы в свою очередь не прогневить его, Создателя нашего и Спасителя.

Овцы, и в немалом количестве, были во всех дворах. Надобно было быть либо законченным лентяем, либо круглым болваном, чтобы не иметь их, когда ты получил землю, когда каждое лето тебе на Больших или Малых лугах выделяется пай для покоса, когда по долинам и по склонам оврагов вокруг села лежала покрытая густым разнотравьем, будто нарочно посеянным для овец, ничья, то есть общая для всех земля, когда по нэпу ты мог держать скотины на своем дворе столько, сколько угодно с уплатой вполне сносного налога. И при всем при том набралось бы не менее десятка мужиков, у которых прямо по пословице не было ни кола ни двора и никакой решительно скотинешки¹

В числе таких и был Семен Тверсков из Непочётовки, ближайшей к нам улицы, заселенной самыми бедными на селе людьми, — отсюда и ее название. Имя, отчество и фамилия Семена значились разве что у моего отца в сельсоветских списках, звали же его все просто: Скрыла. Липовой ноги, как у героя детской сказки, у Семена не было, а вот сам он действительно смахивал на большого косолапого мишку. Непропорционально маленькая голова Скрылы на могучей, медвежьей шее была напрочно, надежно всажена меж круто спускающихся книзу плеч, которые имели своим продолжением толстопалые руки, висевшие ниже колен. Под стать рукам было и туловище — неестественно длинное для человека, покоящееся опять же на коротких толстых ногах. Лицо у Скрылы было чрезвычайно узкое, на нем вроде вовсе не было щек, их, похоже, вобрал, втянул в себя необыкновенно толстый и длинный нос.

Из всех бедных на селе людей Скрыла был несомненно наибеднейшим. И не от лени, однако ж, а от того, что в миру выражается в формуле: «Не умеет жить». Формула эта каждым человеком понимается по-своему. Для известной части людей, составляющих человеческое общежитие, она отнюдь не означает, что надобно жить по совести. Праведным или неправедным путем разжился мужик, но о нем все равно скажут: «Умеет жить». Скрыла не умел. Но что прекрасно у него получалось, так это делание детей. До полной дюжины ему не хватало лишь одного, но скоро появится и он: Анютка, Семенова жена, была опять на сносях — впрочем, а была ли она когда-нибудь не на сносях?..

Отец мой заметил как-то Скрыле:

— И куда ты только стряпаешь, Семен, этих несчастных? Гляди, а то скажу своей хозяйке, чтобы не давала вам больше молока. Рыжонка ведь у нас одна,

¹ Несколькими годами позже эти-то как раз и составят костяк вновь созданного в нашем селе колхоза.

иждивенцев у нее и без твоих скурлят хватает. Так что подумай...

Но папáнке и самому не мешало бы подумать. Подумать о том, отчего это Семен Скурла не дает своей Анютке передышки. А все дело в том, что вслед за родившимся сыном-первенцем Семен ожидал второго сына; эти двое были бы для него неплохими помощниками и во дворе, и на поле. Пошли, однако, девочки. Одна, другая, третья. А Скурла ждал: вот-вот должен появиться и мальчишка. Но мальчишка задержался со своим появлением. Сыпались одни девочки. И было их уже десять против одного Ванюшки.

Не знаю уж почему (может, Семен все-таки послушался моего отца?), но под двенадцатым ребенком, оказавшимся опять девчонкой, была подведена черта.

Обычно даже бедного мужика выручала в какой-то степени лошадь. Была она и у Скурлы. Но мосластого, состоявшего из костей и обтягивающей их кожи, серого мерина и лошадью-то можно назвать разве что с большой натяжкой или сообразуясь с его лошадиным все-таки происхождением. Мерин был так стар, что и серым-то, кажется, стал не по природному цвету, а по преклонному возрасту, и его правильнее было бы именовать не Серым, а Седым, каким и надлежит быть всем дедушкам. С таким одром его хозяин не мог ни вспахать вовремя свою делянку, ни засеять ее, ни запасти ни кормами, ни дровами, ни всем остальным, без чего не мыслится крестьянское житье-бытье. В самом деле, как же ты заведешь, скажем, корову, когда во дворе ни соломинки, ни сенинки, ни тыквы, ни свеклы? По той же причине не обзаведешься и овцами, и тем более свиньей. И курам на таком подворье делать нечего: у Семена Скурлы и амбара-то не было, где могло бы храниться зерно; заработанного им во время молотбы на чужих гумнах было не так уж много для того; чтобы строить «зернохранилище» — два мешка ржи свободно помещались в углу, за широченной, несокрушимо крепкой деревянной кроватью, как бы специально изготовленной для производства детей.

Главным инструментом на Семеновом дворе был цеп с прикрученным к нему тяжеленнейшим дубовым цепником с набалдашником величиною с голову. В пору обмолота свезенных на гумны хлебов легко можно по гулким, как отдаленный гром, ударам определить, где находится Скурла, на чьем току сокрушает он ржаные снопы своим страшнейшим цепником. Разросшуюся до совершенно безумных пределов семью надо было кормить, и Семен старался. Длинная, во все туловище, холщовая его рубаха была не белой, какой бы ей полагалось быть, а почти черной от пота и от замешенной в нем пыли. Хозяин гумна к концу того же дня расплачивался со Скурлой натурой — отсыпал ему в мешок полмерки только что намолоченного и провеянного на ветру зерна. Так скапливались те два, ну, может, три мешка. Но их хватало только до Рождества, в лучшем случае до Крещения. Семену ничего не оставалось, как совать под мышку один из опорожненных мешков и отправляться либо к менее прижимистым дальним родственникам, либо просить вспомоществования у сельской общины, на паях построившей огромный, с обширными вместительными сусеками амбар,

или гамазей, как его именовали, где из добровольных взносов собиралось и хранилось зерно на несчастный случай, от которого не застрахован ни один дом.

Семен, по бедности своей, не мог быть пайщиком, который при крайней нужде получал бы из гамазея хлеб на законных основаниях, и потому должен был просить. Из жалости к его детворе Скурлу «общество» выручало. Не отказывал ему в помощи и прижимистый Сергей Денисов. Правда, не забывал сказать как бы между прочим:

— Платы от тебя, Семен, мне не надобно. Рази што поближе к осени подмогнешь разбросать навозную кучу для кизяков. Только и всего. А теперича иди, корми свой выводок.

Семен и не подумал об условии, при коем был облагодетельствован: навозная куча, которую должен будет «разбросать» он, высотой поравнялась чуть ли не с коньком избяной крыши. Донельзя счастливый, мой Скурла легко кидал за спину лишь на одну треть наполненный мешок и со всех ног мчался домой.

Так вот он и жил. Из года в год. Вплоть до 33-го. А мне и поныне слышится громopodobный гул его цепа то на Больших, то на Малых гумнах села Монастырского.

А подкармливать до поры до времени самых малых из его «выводка» действительно помогала Рыжонка. Подоив ее, разлив молоко по горшкам, кружку-другую мать оставляла в подойнике и потом относила к Анютке; маме доставляло это большую радость. Глаза ее увлажнялись, когда слышала от Анютки:

— Спаси тебя Христос, Ильинишна! Золотое у тебя сердечко...

11

Сестра стала невестой, и, готовя к замужеству, мать старалась принарядить ее в ущерб нам.

В последнее время не только баранина, но и яйца, подсолнечное и особенно любимое мною, густо-зеленое, душистое конопляное масло уплывали мимо наших ртов прямо на базар. Туда же утекало и Рыжонкино молоко, превращенное тоже в масло, но уже сливочное. Все это, созданное общими усилиями двора и дома, обращалось в рубли, на них либо на базаре, либо на осенней ярмарке покупалось Настино приданое. На ее кровати уже горою возвышались нарядные подушки: внизу — самая большая, потом чуток поменьше, затем еще меньше, до самой крохотной, игрушечной, на вершине этой мягкой, манящей твою голову пирамиды (очень хотелось прыгнуть на эту гору, ткнуться в нее носом и утопиться в ней).

Одну из этих подушек пришлось и мне нести чуть ли не через все село к дому жениха, чтобы все могли видеть, что мы отдаем в богатый дом не бесприданницу. Шли медленно, чтобы глазающие на нас отовсюду люди успели пересчитать не только количество подушек, но и одеял, вышитых полотенец, ковриков, дорожек, вытканых руками нашей мамы, и многое другое.

Для нас, ребятишек, никаких покупок не делалось, все мы щеголяли в штанах и рубахах из грубого холста, сотканного матерью на самодельном стане; которому на всю зиму отдавалось пол-избы и который

надоедал нам так, что выдворение его по весне встречалось всеми с великим ликованием.

— Все Насте да Насте, а когда же нам? — срывался иной раз Санька, коему пора бы облачиться в рубаху и штаны «фабричные».

— Погодь маненько, сынок, будет и вам. Вот продадим телку, тогда уж...

Мать недоговаривала, ибо знала, что и «тогда уж» вырученные от продажи годовалого теленка деньги уйдут на свадебное снаряжение дочери. Отсюда и наша обида на нее. Мать видела это и, конечно, страдала, но ничего не могла поделать с нами. А сестре, кажется, было наплевать на Санькино ворчание. Целыми днями она вертелась перед зеркалом, примеряла наряды, придерживая куски только что привезенной из Бланды материи то подбородком, то руками, прижатыми к плечам, то закручивая их по тонкой талии и опуская концы до самого пола, наполняя горницу мягким, волнующим шелестом рождающегося девичьего платья.

А мы злились. Что же нам еще оставалось!

Двор не знал про то, что происходило в доме. Тут все занимались своим делом. Куры неслись, овцы от зари до зари выгуливались в степи, Карюха, как ей и написано на роду, почти не выходила из оглобеля, Рыжонка в очередной раз, хоть и с большим опозданием, привела прямо во двор мирского бугая. Она не знала, конечно, что будет с очередным ее детищем, как распорядятся им хозяева. Эти, последние, не первый год подумывали о том, чтобы какую-то телочку оставить наконец при себе, дать ей вырасти рядом с Рыжонкой, стать настоящей коровой и заменить старую мать. Но когда вот приблизился такой час, мама начала вздыхать и, осмелев, заговорила:

— Можя, погодим с Рыжонкой-то ищю годика два, отец? Кто знат, какая она ищю будет, молодая-то? Как бы не оставить семью без молока...

Отец нахмурился:

— Опять ты за свое!

Но и на этот раз уступил, не употребил положенную ему власть над женой.

— Ну, черт с вами. Погожу еще. Но в последний раз, слышите?

Слышала одна мать, но она понимала, что суровое это предупреждение предназначалось одновременно и ей, и дочери. В таком случае, решила она, лучше промолчать. За два-то года немало воды утечет. Один Бог знает, как оно там все сложится. Так или иначе, а телка будет продана, и мы увидим однажды на сестре новенький, необыкновенной красоты сарафан. Невесте, однако, и в голову не придет, чтобы как-то отблагодарить Рыжонку, хотя бы погладить ее, почесать между рогов (Рыжонке это очень нравилось), принести из лесу мешок крапивы, напарить и угостить кормилицу.

Впрочем, не только Рыжонка, но и овцы могли бы рассчитывать на Настенькину благодарность: и баранину, и шерсть отдавали они, в сущности, ей одной. Из шерсти вязались перчатки и варежки, валялись чесанки и для невесты, и для ее жениха — в подарок, так вроде полагается по свадебному ритуалу!

У кур изымались все, сколько бы они ни снесли, яйца. Даже хитрющей Тараканнице на этот раз не удалось перехитрить меня. Мать попросила отыскать, наконец, потайное гнездо отшельницы. Начал с коноплей, которые стояли на задах высокой, в два моих роста, темно-зеленой стеной, в которых любили прятаться мы с Ванькой Жуковым, Колькой Поляковым и Ванькой Скрылой, ну, и, разумеется, куры. Мы укрывались там для того, чтобы подымить из цигарок, набитых засушенным конским навозом вместо табака, а куры прятались от жары. Но Тараканницы среди них не оказалось. Наведался я и под амбар, но кроме куриных вшей ничегошеньки там не нашел.

Мудрые люди говорят, что последней умирает надежда. А она у меня была. И связывал я ее с крапивой, вымахавшей в саженную длину вдоль всех огородных плетней. Не иначе, полагал я, как там укрывает свою кладку мошенница. Но лезть в крапиву очень не хотелось, потому и оставлял ее на последний, крайний случай. И отыскал-таки гнездо Тараканницы в самых густых зарослях презлющего растения, а потом неделю страдал от страшного зуда на спине, на руках, ногах и в голове: крапива в союзнничестве с куриными вшами жестоко отомстила мне за вторжение в их законные владения.

Старому гордецу Петьке ужасно повезет, коли следующей осенью, на которую определена свадьба, подрастет с десятков молодых петушков, когда не он, а они попадут в свадебную лапшу.

Годовалые теленок и жеребенок, выгуливавшиеся под наблюдением Леньки на отгонном пастбище, незадолго до свадьбы были уведены прямо оттуда на осеннюю ярмарку. Я не узнал бы поначалу и самого Леньку, чугунно-черного от загара, с вихрем спутавшихся ковыльно-белых волос, сквозь которые теперь не продрались ни одному гребешку.

Вернувшийся вместе с отцом с ярмарки, Ленька был не похож на себя. Обычно беззаботно веселый, ни при каких обстоятельствах не унывающий, сейчас он был молчалив и мрачен. Да и как ему не быть мрачным: ведь это он пас Зорьку и Звездочку далеко от дома, недоедая и недосыпая в полном смысле этих слов. Ночью оберегал своих подопечных от серых хищников, бродивших где-то поблизости и время от времени дававших о себе знать тоскливо-знобящим протяжным воем, от которого на Ленькиной голове пошевеливались волосы, а под холщовую рубаху забирался холодок. Привезенной на целую неделю еды хватало всего лишь на два дня, — оставшуюся же «пятидневку» приходилось пробавляться размоченными в воде ржаными сухарями: в степи, на вольном воздухе, у здорового малого был волчий аппетит, да и дружки помогали в скорой расправе над Ленькиным запасом. Кувшин молока Ленька сам выпивал сразу же, как только телега, на которой старший брат привозил еду, скроется за бугром. Ленька вообще не любил ничем запасаться впрок: хоть один раз, но он должен налопаться до отвала, а там будь что будет, — он готов пожить и впроголодь денек-другой.

К осени, о которой идет сейчас речь, брат отощал так, что его бока от выступавших ребер напоминали ру-

бели для глажения белья, а брюхо втянулось внутрь так, что его вроде бы и вовсе не было: при желании Ленка мог бы переламываться надвое, складываться наподобие перочинного ножа.

Неисправимый, казалось бы, весельчак, Ленка плакал украдкой от отца, когда проданных Зорьку и Звездочку уводили от нашей телеги их новые хозяева. Да и всем нам было невесело, когда к вечеру Карюха привезла двух молчаливых, насупившихся, сумрачных седоков: всю дорогу они не проронили ни единого слова, ни разу не обмолвились друг с другом, сидели, как нахохлившиеся сычи, и молчали.

После продажи теленка и жеребенка дом наш на целую неделю погрузился в угнетающие всех сумерки. Пригорюнилась малость и невеста, какое-то время не устраивала девишники, и суженый ее не всякий вечер навещал нареченную, как было до этого.

Сумерки, однако, скоро развеялись. В доме вспомнили, что Рыжонка «обошлась», Карюха отыскала ухажера на поле тоже в определенный ею же срок, а это означало: в следующем году появятся на нашем дворе и новый теленок, и новый жеребенок, так что тужить просто грешно. Сыгранная же благополучно свадьба и вовсе подбодрит всех, расставит все по своим разумным местам.

И все-таки затраты были непомерно велики для отца, который по им же составленным спискам значился середняком. А теперь перед этим словом можно было поставить прилагательное «маломощный», оказавшееся для многих спасительным в роковом Тридцатом.

Живности во дворе резко поубавилось. Одна овечья семья лишилась четырех голов: для свадебного стола были прирезаны три молодых баранчика и старая овца, на свою беду оказавшаяся яловой. Ну, а те трое были обречены уже тем, что явились на свет не ярочками. Над гордой Петькиной головой тоже висел хоть и не дамоклов меч, но остро наточенный небольшой топорик, коему не привыкать опускаться на глупые головы петушков. Он, этот топорик, готов уж был опуститься на Петькину посеребренную с золотистым отливом шею, поскольку куриный повелитель был в критическом для исполнения его обязанностей возрасте, но папáнька сжалился над красавцем, сказав при этом: «Ну, леший с тобой, беги, поживи еще годик, потопчи своих подружек. А там уж...» На радостях Петька взлетел на крышу и тут же о своем чудесном спасении оповестил мир пронзительно-звонким ликующим кукареканьем. Не знал, глупый, что скрывалось под этим самым: «А там уж...» Оттуда, с крыши, он мог бы видеть, что вместо его головы хозяин отсек головы шести юным петушкам, — один из них, самый драчливый, какое-то еще время продолжал бегать по двору без головы... Такая же участь постигла и курицу, которая до срока перестала нестись, вообразив себя наседкой. Квохча и встопорщив перья, она пыталась угнездиться на яйцах, снесенных другими курами, но мать прогоняла ее и, чтобы образумить самозванку, вернуть ее в строй несушек, по чьему-то совету, окунала ее с головой в холодную воду. А когда и это не помогло, недисциплинированной курице был вынесен смертный приговор. Заколот был и полу-

годовалый поросенок, так и не ставший полновесной свиньей (после несчастной истории с Зинкой хрюшки на нашем дворе все-таки водились — без них не обходится ни один крестьянский двор).

Свадьба была шумной и многодневной. Начавшись в домах жениха и невесты, она затем под переливы саратовской гармошки, под бабий визг, под полупохабные и вовсе похабные частушки, в которых равно преуспевали мужики и бабы, под залихватские пляски, катясь по улицам и проулкам, перекочевывала в избы родственников, а потом уж, без разбора, к тем, кто пригласит.

Всю неделю гудело развеселое гульбище, и было оно на редкость мирным, обошлось без мордобоя и кровопусканий, что не только удивило, но, кажется, даже огорчило Федота Михайловича Ефремова, которого, как ему самому думалось, и приглашали-то на свадьбы для того только, чтобы он разнимал, умирал драчунов.

— Неужто так никто и не подерется? — спрашивал он моего отца. — Непорядок. — Федот был явно разочарован. Зато радовались наши родители: все обошлось наилучшим образом. Гости остались довольны, «вина», то есть водки и самогона, хватило на всех, никто не был обнесен, не ушел, стало быть, обиженным.

О больших затратах никто не вспоминал. Вспомнили о них лишь тремя месяцами позже, когда сестра, по неведомым нам причинам, убежала от мужа, когда вслед за нею вернулись в наш дом подушки и все остальное, что по совокупности называется «постелью». Возвращение последней уже не было таким торжественным, как в канун свадьбы, когда несли ее через все село в дом жениха. Дождавшись ночи, отец бесшумно подкатил на телеге к сватьему дому, молча погрузил Настино добро и кружным путем, чтоб никто не видел, почти воровски, доставил его владелице, которая, подхватив одну из подушек, ткнулась в нее носом и разрыдалась. И вот тогда-то я вновь назвал ее няней.

— Нянь, ну, нянь!.. не плачь, нянь!

Не знаю уж почему, но ее нареченный мне, наблюдавшему свадебное действо от начала до конца, очень не показался, и теперь я был рад тому, что сестра оставила его. Может, потому я был рад, что видел, как страдал другой парень, приятель моего двоюродного брата Ваньки, смастеривший для меня балалайку. Звали парня Акимом. Вот за него, будь на то моя воля, я бы и выдал свою сестру. Теперь такая возможность появилась. Едва дождавшись утра, я побежал на хутор, к дяди Петрухиному дому, чтобы о случившемся у нас сообщить Ваньке, а тот бы уж оповестил Акима.

Сделав свое дело, быстро вернулся домой и заговорицки затих, ограничившись тайными наблюдениями за своей няней. Был чрезвычайно рад, когда в первый раз увидел у нас Акима Архипова. Пришел он не один, а вместе с Ванькой. Я ни капельки не обиделся на сестру, когда она турнула меня из горницы.

Так вот, совершенно неожиданно, я оказался у истоков новой Настенькиной свадьбы. Она, увы, окажется столь же несчастливой, как и первая, но виною

тому будут не новобрачные: на страну неотвратно навигался Тысяча Девятьсот Тридцатый год, коему суждено было перевернуть все вверх дном в набравшей было силы и энергии сельщине; в страшную буреломную крутоверть событий будут ввергнуты миллионы человеческих судеб, больших и малых. Не минует она и нас всех, вместе с Настенькой и ее новым женихом.

Но это будет потом. Но пока что семья жила по давно заведенному, отлаженному столетиями порядку.

12

Моя прабабушка Настасья Хохлушка привезла «с ридной Батькивщины» много славных украинских песен. Были среди них и про лихого козака Грицу, которому не советовали ходить на вечерницу, и про вербу рясну в огороде, под которой стояла дивка красна, ожидавшая свою долю несчастливую, и еще про какую-то неведомую мне птицу Лелеку, которая приносит людям счастье. Гораздо позже узнал, что так на Украине зовут Аиста или Черногуза, гнездившегося во многих южных и юго-западных селах и хуторах либо на крышах беленых хат, либо на старых, отслуживших свой срок тележных колесах, поднятых высоко над землей.

Аисты в наших приволжских краях не водились. Может, и водились когда-то. Отзвуком тех далеких лет могло бы служить прозвище одного мужика, прозванного за длинные ноги и шею Аистом. В мою пору Черногузов не было. Но зато были ласточки. Народным поверьем как раз им и отведена у нас роль приносящих счастье. Не то чтобы убить эту похожую на черно-белую молнию птицу, но даже порушить, разорить ее гнездо считалось в моем селе если уж не преступлением, то великим грехом. Об этом знали все, даже мы, ребяташки, которые странным образом заключали в себе и горячую любовь ко всему живому, особенно к пернатым, и их гонителей, главных обидчиков (какими жестокими были мы с Ванькой, например, к грачам, воронам и сорокам, опустошая их гнезда по нескольку раз). Но ласточек не трогали, не обижали. Даже Ванька Жуков, не отличавшийся мягкосердечием, и он входил в хлев своей Непутевой на цыпочках, чтобы не потревожить аспидно-черную сверху; с ослепительно-белым брюшком и красной грудкой трепетную красавицу, прилепившую свое чудо-гнездо к перерубу так рискованно низко, что даже невысокий человек мог бы головой достать его, а мы с Ванькой — рукой.

В Рыжонкином хлеве поселялись сразу две пары, благо петух Петька и его гарем были, наконец, оттуда выселены: для кур дедушка, не дождавшись, когда это сделает его сын, соорудил великолепный курятник, с лесенками, с нашестом, как полагается. Из года в год ласточки гнездились у нас только в коровнике и ни в каком хлеву еще. А почему, никто не знал. Может, потому, что из всех домашних животных корова была самой добродушной и уживчивой. Можно было бы предположить и другое: тут, по соседству с коровой, легче всего отыскать «строительный материал» для гнезда. Но в ласточкином домике вы следов от коровьих «лепешек» не отыщете; великая мастерица слепляет его

из грязи, замешенной на кудели волокнистых растений, тонкой соломке и еще на чем-то лишь одной ей, ласточке, известном. Может быть, еще и потому выбирает она для себя и для своего потомства коровник, что к его хозяйке в летнюю пору липнет неисчислимое множество ее извечных мучителей — мух, комаров, оводов, слепней, мошек и других насекомых, ненавистных для Рыжонки, но очень необходимых для ласточек, — эти твари Божьи служили прекрасным, можно сказать, подножным кормом для прожорливых, как все птенцы на свете, ластужат.

Летом, к прилету ласточек, Рыжонка на весь день уходила в поле. Но насекомые не покидали коровника, ждали, проклятые, когда Рыжонка вернется с пастбища и можно вновь накинуться на нее. А овода умудрялись еще просверливать кожу и откладывать под ней свои личинки, которые, развиваясь, превращаясь в толстых червяков, шевелились и приводили несчастное животное в бешенство, корова от этого резко убавляла в надое. По бугоркам на Рыжонкиной коже я, бывало, определял, где находится ее истязатель, и крепким нажатием двух больших пальцев выдавливал его оттуда. Было очень противно, но для нашей кормилицы я мужественно подавлял в себе крайнее отвращение. Жалел только, что ласточки не научились делать это вместо меня.

Мухи, комары и прочие кровопийцы «благоденствовали» лишь до середины июня, до прилета ласточек, а потом сами становились жертвой собственной кровожадности: насытившись до предела, вялые, полусонные, они делались легкой добычей добровольных Рыжонкиных защитниц: ласточки истребляли этих вампиров десятками тысяч. Косвенным образом Рыжонка и для ласточек была кормилицей.

Когда подрастали птенцы, их родители навевались и к Карюхе. Тут они подбирали конский волос, которым привязывали своих детенышей к гнезду, чтобы те не покинули его прежде времени: на слабых крыльях далеко не улетишь, а этого только и ждут кошки или вороны. Как ни стеснительны для нетерпеливых ластужат были мамины сети, но они же были и спасительны. Придет время (а ласточка-мать точно определит его), конские волосинки будут убраны, птенцы, оказавшись на свободе, опробуют свои крылья сперва в хлеве, потом вылетят через открытую настежь дверь на волю и там уж полною мерой ощутят волнуемую, ни с чем не сравнимую радость полета.

Какое-то время мать будет кружить рядом с ними, подбадривать, выверять направление, стремительно проносясь то над ними, то под ними, — и так до тех пор, пока не убедится, что они способны самостоятельно распоряжаться крыльями, теми, что даются природой только ласточкам. Теперь малыши, которых не отличишь от взрослых (разве что хвостики чуток короче), носились над самой землей и над водой, где на лету подхватывали не видимых нашему глазу мошек, едва не касаясь волны, раскраивая кинжально острыми концами крыл синюю ткань небес так и сяк, успевая при этом и там, в бездонной синеве, подхватить то муху, то комара, то еще какую-нибудь незримую для нас живую мелочь.

Вечером, когда, встретив Рыжонку у Вишневого омута, у Панциревского моста, я пригонял ее домой, ласточки собирались в ее хлеве со всем своим потомством. Мама, доившая корову, слышала, как устраивались, возились, тесня друг дружку, молодые ласточки где-то там вверху, — гнездо было для них уже тесным, как они попискивали там. Кот Васька, дежуривший, как всегда, за спиной хозяйки, тоже слышал эту возню вверху. Ему ничего не стоило бы в минуту переловить и передушить их всех, но Васька, подчиняясь общему правилу, не трогал ласточек. Он их слышал.

Слушала и Рыжонка, тихонько шевеля то одним, то другим ухом. Она привыкла к своим шустрым, беспокойным сожительницам и, наверное, будет очень скучать, когда однажды они все вдруг исчезнут, и она их не увидит аж до следующего лета. Еще больше буду скучать без них я. Из всех перелетных птиц, которых по весне ожидают в великом нетерпении деревенские дети, таких, скажем, как жаворонки, грачи, скворцы и соловьи, ласточки объявляются последними. Их скорее можно назвать гонцами не весны, а лета. А вот отлетают ласточки в теплые края раньше всех других пернатых кочевников, — удивительно, как им удается за короткий этот срок сыграть свои свадьбы, смастерить мудреные домики-гнезда, отложить в них яйца, вывести птенцов, выкормить их, поставить на крыло, дать им еще возможность порезвиться в просторах родного неба, половить стрекоз над ближними озерами и реками, а потом увести в далекие края, где не бывает ни слякотных осенних дней, ни зимних холодов, да еще научить тому сверхъестественному, чтобы они могли уже сами найти в назначенное Богом время дорогу домой, вот к этому теплоте с его милыми запахами Рыжонкиному жилью?!

Знала бы Рыжонка, что она крайне нужна не только нам, людям, не только всем без единого исключения обитателям двора, что о ней же думают и вспоминают в чужой далекой стороне крохотные молниекрылые существа, обладающие таким же, как у нее, добрым и памятливым сердцем, что они только и думают о том, как бы поскорее приходило новое лето, когда можно будет вернуться домой и начать новый цикл своего земного бытия?.. Знала бы...

Но так ли уж важно, чтобы Рыжонка знала про все это? Гораздо важнее то, что она есть на свете, что нам как-то покойнее и надежнее рядом с нею, что с нею же накрепко повязаны судьбою и те, что сейчас далеко-далеко, за синими морями, за высокими горами...

Отдыхай, Рыжонка, Господь с тобою. Пережевывай тихо свою жвачку, собирай по каплям молочко для всех сущих на благословенной этой Земле. А ласточки прилетят. Обязательно прилетят и принесут на своих быстрых крыльях счастье и нам и тебе, Рыжонка. Недаром мама осенила тебя и себя крестным знаменем.

— Господь с тобою, — это были постоянные слова, которые произносила мама, когда выходила из хлева с полным ведром парного молока, запахи которого вдыхали все лето и ласточки. Могут ли они забыть про них!..

В конце мая следующего года я пригнал Рыжонку не на Гаевскую, как обычно, а на Чаадаевскую гору. Сделал это по совету Ваньки Жукова, более меня во всем сведущего. Я уже привык к тому, что он верховодил надо мной, командовал мною, как хотел, нисколько не ущемляя при этом моего самолюбия. Добровольно возложив на себя роль «военачальника», Ванька не только командовал, но первым шел на самые рискованные операции: оставив, к примеру, меня и других ребят из нашей с ним компании «на часах», сам лез в чужой сад за яблоками, либо в чужой же огород за огурцами, морковью, брюквой, которая была редкой в нашем селе, а потому и очень заманчивой. То же получалось с набегами на горохи. Особенно опасны были вылазки на бахчу, принадлежащую Коллективу — так нарекли свое небольшое поселение предприимчивые мужики, выделившиеся на приобретенные ими земли у подножья высоченной Чаадаевской горы.

Место это называлось Подгорным и пользовалось худой славой. В густом, непролазном лесу, покрывавшем крутые скаты горы, находили для себя надежное укрытие разбойники — не те, что в детских сказках, а натуральные. Мимо Подгорного с давних времен проходила дорога, которую именовали не иначе как Большая. Вот на ней-то, на этой Большой дороге, и учиняли разбой те, что устраивали засады в здешних диких зарослях.

Однако это не испугало чаадаевских поселенцев. Они первыми сообразили, что тут, в этом пугающем и несколько таинственном уголке можно создать прямо-таки земной рай, стоит лишь приложить к нему руки и в придачу к ним думающую голову. Посудите сами: у подножья горы, на плоскогорье, раскинулась ровная, широкая долина с метровой толщины черноземом; продолжают ее заливные луга с густым разнотравьем, где преобладает клевер во множестве его видов, — белые, красные, розовые, бледно-розовые, фиолетовые и желто-голубые его головки яркими разноцветными звездочками мерцают на живом этом, сотканном искуснейшей ткачихой-природой ковре. Тут уже сейчас, в конце мая, трава достигала до наших плеч, и мы не шли, а плыли в ней, купаясь в обильной поутру росе, не только штаны, но и рубахи на нас с Ванькой были насквозь мокрые; выкупалась в росе и Рыжонка до самых ушей и рогов, когда мы гнали ее к Чаадаевской горе.

Совсем рядом — лес с озерами, кишущими рыбой, а за самой горою целинная равнина, взятая чаадаевцами когда-то под отруба и быстро превращенная ими в великолепные пахотные поля. В непостижимо малый срок, а именно за один год, тут вырос хутор из десяти домов. Его-то и нарекли сами же переселенцы Коллективом. Со столь же невероятной быстротой Коллектив начал богатеть, каждый трудился тут с каким-то безумным, сладостным упоением. Старые, привезенные дома скоро сменились новыми, более прочными, срубленными из дубовых, железной крепости бревен — лес-то был рядом и часть его, та, где как раз и высились громадные столетние великаны-дубы, теперь тоже была собственностью общины. Перед каж-

дым двором, как его едва ли не самая важная принадлежность, был колодец. Над колодцами стояли «журавли», целыми днями они раскланивались друг с другом. Крупные, невиданной светло-бурой масти коровы, возвратясь с пастбища, которое было под боком, долго, не спеша, то и дело останавливаясь и отдуваясь, как бы продлевая наслаждение, пили холодную чистейшую родниковую воду; в стоявшую у самого сруба колоду с их губ падали хрустальной прозрачности капли, вслед за ними с тех же губ тянулись длинные нитки слюней — можно было подумать, что коровы пьют не воду, а мед, который на эту пору бывает золотисто-светлым и уж сверх всякой меры сладким.

Рыжонка, оказавшаяся поблизости от них, выглядела сущим теленком. Даже Ванькина Лысенка, забредшая как-то по своей блудливой натуре в Коллектив, рядом с местными величавыми красавицами сразу потерялась, утратила всегдашнюю свою нагловатую гордыню. Ванька Жуков слышал от кого-то, что коровы эти были разведены от нескольких пар, купленных в некоей богатой заморской стране, которая называется Америкой. Оттуда же Коллективу прислали и трактор под названием «Фордзон». Эту «чуду», как окрестил заморского пришельца Федот Ефремов, «до смерти» захотелось увидеть и нам с Ванькой. Отсюда и наше решение — выйти с Рыжонкой не на нашу, а на Чаадаевскую гору, с которой можно хорошо разглядеть и сам хутор, и все, что в нем есть, все, что его окружает, и в особенности трактор. Годом позже мы могли бы увидеть его на своих гумнах. Дело в том, что десятидворка умудрилась «выписать» из той же Америки еще и молотилку, приводимую в действие «Фордзоном». Быстро управившись с уборкой и обмолотом своих хлебов, хуторяне подряжались для обмолота зерновых у наших монастырских крестьян, в том числе и у нашего отца — за оплату натурой, то есть пшеницей или рожью, которые продавались и превращались в деньги.

С макушки Чаадаевской горы нам хорошо были видны крыши домов Коллектива. Ни одной соломенной. Некоторые покрыты железом, окрашенным в зеленый либо в желтый цвет, другие — нарядной, золотистой черепицей. Даже скворечники были тут особенные. Они являлись как бы малой копией домов: над крышей домика веселого певуна-пересмешника была крохотная труба с резной короной, перед входным отверстием — маленькое крылечко, напоминавшее такое же, но уже большое перед домом самих хозяев. Двор с каменными хлевами и каменным же забором, а также высокими тяжелыми, сколоченными из вершковых досок воротами, окованными железными ремнями, напоминал небольшую средневековую крепость. По всему было видно, что поселившиеся здесь люди поселялись надолго, может быть, думали, что на века...

...Рыжонка паслась неподалеку. А подружившиеся одновременно с нами Жулик и Полкан, набегавшись, наигравшись, наволтузивши друг друга вдоволь, мирно лежали рядом с нами. Только чуткие их уши насто-

женно пошевеливались. А мы с Ванькой сидели и не могли оторвать зачарованных глаз от дремлющих в молчаливой зелени садов красивых изб этого сказочного, манящего к себе хуторка.

«Фордзона» мы в тот день так и не увидели, но не очень-то огорчились, потому что Ванька нашел занятие, захватившее нас целиком, так, что мы забыли и про трактор и про Рыжонку, которая оказалась в полном одиночестве без всякого присмотра, поскольку и Жулик с Полканом не могли не увлечься нашей новой затеей. А она заключалась в том, что Ванька и я решили выяснить, кто из нас смелее. Ванька, естественно, считал, что он смелее меня, что вообще по части храбрости ему нету равных в селе. И вот теперь он вознамерился доказать мне это на деле. Он войдет сейчас в Подгорное, спустится по почти обрывистому склону в самую глухомань и пробудет там аж до вечера, а «ежели ты хошь», то и всю ночь.

— Не веришь? — спросил он меня, сверкнув отчаянными своими белыми, как у галки, глазами.

— Знамо, не верю! — немедленно ответил я, подзадоривая друга.

— Спорим?

— Давай!

Минут десять ушло на выработку условия спора. В конце концов было решено, что проспоривший украдет у Тихона Зотыча великолепный, длинный-предлинный пастуший кнут, извлекавший необыкновенной громкости хлопки, и вручит победителю: кнут этот давно уже был предметом Ванькиных воцделений, а в том, что победителем в нашем споре будет он, мой дружок не сомневался ни минуты.

— Идет? — спросил он для верности.

— Идет... — сказал я, но не совсем уверенно. Поэтому Ванька поставил этот вопрос еще раз и, когда услышал от меня утвердительный ответ в более решительном тоне, командовал:

— Пошли!

Мы вышли в сопровождении наших псов на опушку Подгорного. Тут я остановился, а Ванька вместе со своим Полканом нырнул в темную глыбь страшного леса, как нырял не раз в Вишневыи омут, когда мы ходили встречать коров. Мне и тогда было боязно за него, а теперь и подавно. Ваньку могли схватить и разбойники, которым был бы весьма некстати этот неожиданно объявившийся свидетель, и волки, у которых в Подгорном находилось логово с волчатами (о них мне говорил сам же Ванька). Подумав о тех и о других, я услышал, как под мою рубаху пополз холодок. Меня охватил ужас, и я заорал:

— Ванька-а-а!

«А-а-а-а!» — ответило мне из темно-зеленой бездны эхо.

Ванька не отзывался.

Я закричал еще громче:

— Ванька-а-а-а!!!

Сперва откликнулось эхо, а потом уж и сам Ванька. Из-под того же вяза, раскинувшего свои лапы до самой земли, за которым и скрылись с полчаса назад, сперва показался Полкан, а за ним — его хозяин, который торжествующе расхохотался:

— Ага, струсил?! Ежели бы ты не заорал, я бы и не возвернулся до самого утра. Не веришь?

Теперь я верил. Я не знал, что Ванька спустился под гору чуть более пятидесяти шагов. Его остановила там сначала какая-то глубокая яма, прикрытая колючими зарослями ежевики, — там вполне могла затаиться волчица с волчатами. А когда дурным голосом огласил урочище филин, от Ванькиной храбрости ничего уж не осталось. Он сразу же решил, что это заголосил леший, который недавно поселился в Подгорном и заманивает туда ребятишек, — об нем Ваньке говорила мать. Не верить ей было нельзя. Подгорное было самым подходящим местом не только для волков и разбойников, но и вообще для всякой нечистой силы.

Короче говоря, мой отважный дружок тотчас же повернул назад. Те пятьдесят шагов, что отделяли его от меня, ему пришлось преодолевать на четвереньках — таким крутым был подъем. Ванька карабкался, и ему поминутно казалось, что его уже кто-то хватает за ноги. Однако передо мной он вновь расхорохорился:

— Хошь, я опять уйду?

Я этого не хотел. Мне вдруг вздумалось самому испытать то, что испытал Ванька, и побыть в лесу в два раза дольше.

Покливав Жулика (с ним не так страшно), подмигнув другу, явно обескураженному от неожиданной для него моей дерзости, я начал свой спуск так быстро, что в наиболее крутых местах катился уж кубарем, обдирая в кровь лицо и руки. Кое-где проваливался в какие-то ямы, замирая от страха, выбирался из них, а потом, подгоняемый какой-то неведомой для самого себя силой, не отдавая отчета в том, что делаю, что со мною происходит, я спускался все ниже и ниже в преисподнюю. Жулик, удивленный, похоже, моей безумной храбростью, то и дело останавливался, давая понять, что пора бы уж повернуть назад. Но я был охвачен азартом, который всегда граничит с безрассудством, он распалил меня так, что остановиться было невозможно.

Теперь уже Ванька испугался и отчаянным криком звал меня. По его приглушенному расстоянием голосу я понял наконец, что ушел слишком далеко, но продолжал еще быстрее скатываться под гору.

Остановил меня мой четвероногий телохранитель.

Жулик что-то почуял, наострил уши, взъерошил шерсть на загривке, оглянулся на меня и громко залаял. Вздрыгнули волосы и на моей макушке, когда я разглядел впереди свежее человеческое стойбище. Прямо перед нами виднелся черный зёв землянки, а чуть правее, на расчищенной от травы лужайке стоял грубый самодельный стол. Над землянкой курился дымок. Увидав все это, я едва не умер от страха: слухи о разбойниках в Подгорном подтверждались более чем наглядно.

Скованный ужасом, я не мог сдвинуться с места, а Жулик прямо-таки заходил в визгливом лае. Ни я, ни он не знали, что своим внезапным появлением в глухом урочище навели такого переполоху в стане людей, которые в одну минуту повыскакивали из землянки и в страшной панике ударились еще дальше вниз по склону и перевели дух только в Чаадаевке.

Да, это были вовсе не разбойники, а чаадаевские мужики, которые избрали это место для установки са-

могонного аппарата. Но я-то этого не знал. Оказывается, по ночам они привозили сюда барду, созревшую для изготовления лютого зелья. Ее запах и почуял раньше всего мой пес. Круглыми сутками работал аппарат, перегоняя барду в сивуху разных сортов: первый, второй, третий. Первый так и назывался — первак, способный одним глотком свалить с ног любого сельского богатыря; второй послабее, ну, а третий — тот уж вовсе почти без градусов, этот если и мог кого-то повалить, то разве что законченного пьянчужку, кой и от глотка воды делается пьяным. Был и четвертый сорт — вот он уже совершенно безградусный, но стойко удерживает в себе неистребимый самогонный запах — и ему были рады вполне спившиеся рабы Божьи, в которых наше село не испытывало недостатка в любые времена при любых режимах.

Не знаю уж почему, государственная ли монополия на водку, предчувствие ли надвигающейся великой беды, равной Всемирному потопу, но в 1927 и 1928 годах самогонование разлилось по Саратовщине наподобие Волги по весне и приняло размер стихийного бедствия. А может, это был пир накануне чумы? Слухи о коллективизации, сперва редкие, глухие, неясные, со временем становились все настойчивей и обретали зримые, реальные очертания. «Хлебец до зернинки подметут в сусях», — рассуждали мужики в поисках оправдания самогонного угара. Рассуждая так, они были недалеко от истины, оказавшейся горчее самого наипервейшего первака. Все окрестные леса, заросшие кустарником глубокие овраги были прямо-таки нашпигованы самогонными аппаратами немыслимых конструкций — изобретателей отыскалось великое множество. Районная милиция устраивала на самогонщиков облавы, но сивухные реки не убывали. Остановились они сами, когда гнать самогон было уж не из чего.

Вот в какое время черт занес нас в Подгорное!

Обратный путь на вершину Чаадаевской горы оказался для меня во много раз труднее. Местами пришлось преодолевать его по-пластунски. С оцарапанным до крови лицом, с разодранными штанами и рубахой, но бесконечно счастливый, я выбрался наверх и в первую минуту зажмурился от ударивших по глазам солнечных лучей. Упал навзничь, раскинул в стороны руки и ноги, чувствуя, как по всему телу разливается расслабляющая, снимающая нервное напряжение усталость. Я даже рассмеялся — а чему, и сам не знал. Ванька и наши собаки сидели рядом и молчали, потому что и они не знали, что со мною происходит, от чего это я расхохотался. Увидя такое, мать бы моя сказала: «Не к добру это».

А оно и было не к добру. Обожженный предчувствием чего-то неладного, я вскочил на ноги, испуганно глянул туда-сюда и... не увидел Рыжонки.

— Вань, где она? — Горло перехватило спазмой.

— А откель я знаю, — как-то вяло пробормотал Ванька, который не мог простить мне моей победы над ним.

Больше я ни о чем его не спрашивал, а стал метаться по горе в поисках Рыжонки. Убедившись, что нигде тут ее нету, спустился к хутору, обежал там все колодцы (может, Рыжонка вышла сюда на

водопой?), затем выскочил на луга, к узкой тропе, по которой привели корову утром на эту гору, шарил глазами, но следов, по которым можно было бы определить, что Рыжонка ушла домой, не обнаружил. Задыхаясь и плача потихоньку, помчался в степь, где Тихон Зотыч пас коров (теперь он мог не беспокоиться за свой несравненный кнут). Но и в стаде Рыжонки не оказалось.

Вечером, совершенно уничтоженный и несчастный, размазывая слезы по грязному, расцарапанному лицу, с ободранными коленками, выглядывавшими из-под разорванных портков, я предстал перед матерью, давно ожидавшей меня у ворот. Жулик, такой же виноватый, притих у моей ноги. Он и сейчас не покидал меня.

— Царица небесная! — всплеснула мама руками. — Да что с ним? — обратилась она за разъяснением к своей постоянной и единственной советнице и заступнице, к которой обращалась всегда при всех трудно-разрешимых житейских неурядицах. — Да где ж тебя носил нечистый? Где Рыжонка-то? — обратилась наконец уже ко мне. — Где ты ее оставил?..

Я глотал слезы и молчал.

Потрясение было так велико, что я не был даже высечен ни в тот вечер, ни на другой день, ни в последующие за несчастьем дни. Лишь мама, сидя на лавке, безвольно уронив руки на колени, тихо, еле слышно говорила не то себе самой, не то мне, спрятавшему преступную голову свою в подушку:

— И зачем только окаянный понес его в энто Подгорное, в самое разбойничье логово?.. А все это его дружок, он его заманил туда. Знаю я энтих Жучкиных. У них и корову-то зовут Непутевой. И ты, сопливый, нашел дружка. Без ножа зарезал... Оставил всех без молока. Што теперича будешь лопать? — Это уже напрямую адресовалось мне. — Будешь одной водой пробавляться, как Ванюшка Скрыла.

Я продолжал молчать. Мне было бы легче, если б мама сняла с гвоздя отцов ремень и прошлась им раз-другой по моей спине. Но она почему-то этого не делала — продолжала ворчать, время от времени обращая воспаленные, выплаканные до самого днышка, сухие глаза на свою заступницу, непорочную Деву Марию, помещенную в центре образов, прямо перед лампадой.

14

Отец пытался до полной темноты искать Рыжонку поблизости от Чаадаевской горы, где она паслась и откуда неизвестно куда ушла. Спустившись вниз, к Коллективу, заглянул в каждый дом, выпрашивая, не видел ли кто старой рыжей коровы, не забрела ли в чей-нибудь хлев, чтобы не на горе, как в прошлом году, а тут, в чужом коровнике, отелиться. Нет, никто не видел нашей Рыжонки.

На другой день к поискам подключилась чуть ли не вся родня. Двоюродные наши братья Иван и Егор облазили все леса, окружавшие Монастырское, наведались и в Чаадаевку — Рыжонка могла забрести и туда. Дядя Пашка обследовал Малые гумны, а дядя Петруха — Большие, — Рыжонка любила

заглядывать и в те и в другие, но, правда, лишь зимою, когда можно было выдернуть из какого-либо стожка прядку душистого сенца.

Дедушка, узнавший о беде от меня, оставил сад и обошел чуть ли не все дворы в большом нашем селе, с особенным тщанием осмотрел те, что находились всех ближе к злополучной Чаадаевской горе. Но — все напрасно. Рыжонка будто и вправду сквозь землю провалилась. Ленька не поленился и сбегал в Баланду, на базар, посмотреть, не привез ли кто-нибудь из чаадаевских или наших мужиков свежую говядину (глупый, как бы это он узнал, что она, говядина эта, от Рыжонки?).

К концу второго дня дедушка заглянул к своему старому другу Василию Емельяновичу Денисову, — теперь вся надежда была на него. От зорких, никогда, кажется, не смыкающихся глаз этого старика не ускользало решительно ничего, ни одна тайна не оставалась не разгаданной им, ни одному монастырскому воришке не удавалось сохранить неопознанным свое малопохвальное ремесло, потому что Василий Емельянович знал все и вся обо всех жителях села. По ночам, когда и совершаются по большей части предосудительные дела, он не спал, а молча бродил по темным улицам и проулкам, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что бы там ни происходило. Неведомые гребешку волосы на его голове были так жестки и густы, что их и волосами-то нельзя назвать: скорее это была свалывшаяся шерсть серой волчьей масти. Потому и прозвище у старика было соответствующее: Волк. А волка, как известно, ноги кормят, ночью ему не до сна.

Дедушка привел к Волку и меня, чтобы я сам рассказал «всевидающему и всеслышающему» ведуну о месте, где проворонил Рыжонку.

Выслушав несчастную мою повесть, Василий Емельянович долго молчал.

— Можя, из чаадаевских кто увел вашу коровенку? — высказал он наконец свое предположение.

— Ну, кому она нужна, такая старая, Емельяныч, — сказал дедушка. На что Волк резонно заметил:

— Когда воруют, на рога не глядят.

— Оно, конечно, так, — согласился дедушка.

Он, как и Емельяныч, знал, что по кольцевым рубцам на рогах можно точно определить, сколько лет корове и сколько раз она телилась.

— Што ж, Михайла Миколаич, попробую помочь вашему горю. Ужо наведуся к чаадаевским самогонщикам. Они-то, небось, думают, што никто не знат, где укрывают свои аппараты. Но ить, Михайла, рази можно от меня укрыться?! — похвастался Волк, сверкнув из-под нависшей крыши седых волос хитрющим, насмешливым глазом. — Ежели хошь, укажу тебе, кто прошлым летом утащил из твоего сада улей...

Мы с дедушкой переглянулись. У дедушки и был-то всего-навсего один этот улей, и старик очень сокрушался, когда его украли.

— Чего ж ты, Емельяныч, не сказал мне тогда? Знал ведь...

— Мало ли я чего знаю, Михайла! Но об иных делах лучше помалкивать.

— Понимаю... — Дедушка вздохнул.

— То-то же. Ну, а начет Рыжонки испробую проведать кое-што... Можя, она еще жива, не угодила под нож. Старое мясо — кому нужно? Рази што псам голодным?..

— А волкам?

— Што ты, Михайла! Волк летом на коров не нападет — боится рогов. Любая царапина для него смертельная. В самой махонькой ранке заведется червь — а это для зверя гибель.

— Ну, ну...

Дедушка, сказав это, мог бы подумать: «Кому-кому, а Волку-то лучше знать волчьи повадки». Но сказать вслух такое он, конечно, не мог. И потому, что был чрезвычайно деликатен, да и потому еще, что всерьез надеялся на помощь Василия Емельяновича.

Между тем поиски Рыжонки продолжались.

Чувствуя и на себе некоторую долю вины (как-никак, а это по его совету оказались мы с Рыжонкой на проклятой Чаадаевской горе), Ванька Жуков присоединился ко мне. Вдвоем мы «прошупали» все лесные поляны, каждая из которых имела свое название, не менявшееся на протяжении столетий: Осошное, Надволжанное, Вонючее, Кабельное, Лебязье, Штаниково. На них поздней осенью, уже без пастуха, забредали коровы, предводительствуемые жуковской Непутевой. Через свой выбрались мы и в дальний Салтыковский лес, где прошлым летом добыли по одному пустельжонку (из них потом нашими заботами выросли прекрасные ястребки, не покидавшие нас чуть ли не до самой зимы).

В отчаянном желании отыскать Рыжонку мы забирались в такие места, где уж действительно никакой Макар ни телят, ни коров пасти не мог, потому что они были попросту непроходимы ни для пастуха, ни для его стада. Забираясь глубже и глубже в лесные дебри, мы в душе-то знали, что занимаемся делом совершенно безнадежным, но не заниматься им не могли в нашем положении: сознание непоправимой большой вины и жгучее желание снять с себя хоть малую его долю толкало нас на самые безумные поступки. Что касается меня, то я готов был не возвращаться домой вовсе, а остаться на всю ночь вот тут, в этом темном и страшном лесу, и пускай бы сожрали меня волки — я готов был и на это!

Последние дни невыносимо было видеть маму с ее почерневшим лицом, с потухшими глазами, слышать, как по ночам она тяжело вздыхает. И папáнька в эти ночи курил беспрестанно, сидел, свесивши с кровати ноги, до самого рассвета — облако махорочного дыма было особенно плотным и ядовитым.

Санька и Ленька только первые два дня занимались поисками. Они искали Рыжонку в поле — в Орловом, Каменном, Березовом, Дубовом, Липовом и других оврагах, так же, как и поляны, носящих свои имена с незапамятных времен. Сейчас-то в них не было ни орлов, ни камней, ни берез, ни дубов, ни

лип, — сохранились они лишь в памяти людской, как неделимое сокровище на все времена для всех поколений.

Рыжонки, конечно, братья мои не нашли там и первыми порешили, что теперь уж никто ее не найдет. И коли так, то и искать ее нечего. Сговорившись таким образом со своей совестью, ребята освободили себя от дальнейших поисков.

Но я-то, главный виновник беды, не мог последовать их примеру, а потому и оказался в непролазных дебрях Салтыковского леса, готовый на все, даже на собственную смерть, как на последнее, единственно возможное для меня искупление моей вины. Ванька, похоже, догадывался о моем душевном смятении и, как настоящий друг, не покидал меня ни в тот, ни во все другие дни, — до тех пор, пока все в нашей семье не примирились с печальным обстоятельством, пока — уже на общесемейном совете во главе с дедушкой — не принято было решение отдать нам годовалую телку с дедушкиного двора, который теперь принадлежал двум хозяевам: самому дедушке и младшему его сыну Павлу, оставшемуся с семьей в доме отца. Поскольку нравственная власть оставалась за стариком, дяде Пашке ничего не оставалось, как согласиться с решением «Большого Совета».

После этого в нашем доме всем стало полегче. Тягостное, давящее на душу каждого состояние малость разрядилось: пускай не в этом, но в будущем году у нас опять будет корова — и не старая Рыжонка, а молодая Красавка — это имя уже было дано ссуженной нам пестро-белой, нарядной, как невеста, в самом деле очень красивой телке.

Полегче, стало быть, сделалось на сердце у всех. Все это так. Но как прожить целый год без молока? Семья-то у нас хоть и не такая большая, как, скажем, у дяди Петрухи, но и малой ее не назовешь — шесть душ, а точнее сказать — шесть ртов, да прибавьте к ним еще тех, что во дворе, что тоже были на Рыжонкином иждивении. Они с не меньшим нетерпением ждали, когда отелится Рыжонка и ее вновь начнут доить.

Не видя ее во дворе, как-то понурилась старая Карюха, подумала, наверное, куда бы это запропастилась напарница, с которой поровну были поделены заботы и по дому, и по двору? Огорчилась Тараканница, которая, бывало, позже всех уходила в курятник, потому что ждала, когда я пригоню корову и можно будет поковыряться в свежей, только что «испеченной», тепленькой ее «лепешке» и отыскать в ней кое-что для себя. А Жулик начал по ночам тоскливо поскуливать и подвывать: что-то же и ему перепало от Рыжонки, — и вдруг ее не стало. Недавно купленного поросенка явно не устраивало месиво, не забеленное молоком, и он требовательно и обиженно повизгивал в своем хлевушке. Но, кажется, больше всех «заскучал» без Рыжонки кот Васька, для которого несчастная история с нею в конце концов закончилась трагически. Не получая своей обязательной порции молока, Васька, естественно, искал «компенсации», того, чем бы можно его заменить. Искал, однако, не там, где бы следовало. В самый раз ему надобно было бы заняться

своим делом, то есть ловить мышей. Но Васька нашел такое занятие слишком хлопотливым и обременительным для себя и сделался тайным похитителем моих крольчат. Пока я искал корову, ему это сходило с рук. Но когда поиски прекратились и я пришел наконец в себя, то быстро обнаружил резкую убыль моего кроличьего молодняка.

После этого мне ничего не стоило выследить и прихватить Ваську на месте преступления. И кот, невероятно разжиревший от крольчатины, был казнен. В совершении экзекуции помогал мне Ванька Жуков. Он пробрался в кладовку знаменитого охотника Сергея Андреевича Звонарева и добыл там тяжеленный волчий капкан. С великим трудом мы настрожили его, и блудливая голова Васьки оказалась в мертвой хватке безжалостного железа. Выбрали мы такую казнь потому, что смерть от нее наступала мгновенно. Совершили мы это злодейство украдкой от мамы: она бы не позволила нам сделать этого.

Без Рыжонки двор как-то сразу осиротел. Все его население явно пригорюнилось. Овцы, придя вечером из стада, беспокойно слонялись из конца в конец, будто искали кого-то. В Петькиных утренних побудках не было прежней бодрящей свежести, в голосе петуха не чувствовалось искрометной, брызжущей удали,— теперь возглашал он зорю как бы нехотя, по необходимости, не радуящей ни его самого, ни тех, кто его слушал. А ведь еще недавно он был запевалой в кочетином хоре,— первым начинал, а уж все другие петухи в разных концах большого села дружно подхватывали; словно дирижер, Петька устанавливал тональность для всей петушиной капеллы. А сейчас к его вялому кукареканью никто из его собратьев даже не прислушивался, все горланили вразнобой, кто на что горазд, точь-в-точь как участники знаменитого мартышкиного квартета.

Жулик предпринял несколько попыток поискать корову самостоятельно, отрывался от нас с Ванькой, убегал в лесу далеко то вправо, то влево, то вперед, то возвращался назад, дважды вызывая переполох в стане уже не чаадаевских, а своих, монастырских, и салтыковских самогонщиков; пес рисковал быть пристреленным, но его спасло то, что мужики боялись выстрелом выдать свое пристанище и навлечь на себя милицейскую облаву.

Жулик, однако, старался: он любил Рыжонку не только потому, что баловался иногда ее молочком, но и потому, что с нею было хорошо на горе, где она паслась на исходе весны, где пес мог прекрасно поохотиться и за хомяками, и за тушканчиками, и за сусликами, и даже за сурками, издырявившими своими норами вершину Гаевской горы. Но больше всего, конечно, Жулику хотелось выручить меня,— он же видел, как я мучаюсь, к тому же пес был слишком умен, чтобы не чувствовать и собственной вины: ведь ему вовсе не обязательно было участвовать в глупом моем споре с Ванькой. По собачьему своему долгу ему надлежало находиться рядом с Рыжонкой и стеречь ее, в особенности тогда, когда молодой хозяин увлекся игрой.

Словом, терзался угрызением совести и Жулик, чут-

кий и отзывчивый на чужие страдания. И когда мне делалось невмоготу, он становился на задние лапы, передними упирался в мою грудь и долго глядел мне в лицо своими все понимающими, прекрасными собачье-человечьими глазами, как бы говоря при этом: «Ну, что поделаешь, виноваты мы оба. А жить-то надо. Дай-ко я обниму и поцелую тебя!»

Я наклонялся, крепко прижимал собаку к груди; Жулик тыкался в мое лицо своим влажным холодным носом, норовя достать кончиком языка до моих ноздрей. Я не мешал ему: пускай целует, сколько хочет. Прижимая лохматого друга все крепче и крепче, я и не замечал, как губы мои сами собой шевелились. Оказывается, я шептал, сглатывая слезы:

— Жулик, милый...

Потом принялся за работу, которая для меня была уже привычной и которую за меня никто не исполнит: начал освобождать собачий хвост от прошлогодних репьев, собранных Жуликом в таком количестве, что за один раз с ними и не управиться. Я выдирал их вместе с собачьей шерстью, Жулику было больно, но он терпел. Знал, умница, что я произвожу эту работу в его же интересах, чтобы он не волочил свой обремененный репьями хвост по земле, а завивал его кренделем, гордо и высоко держа над собой, как и положено приличной дворняге.

Известное дело: долг платежом красен. Я отвечал Жулику заботой о нем, а он обо мне, как и полагается у настоящих друзей.

15

Между тем отец мой что-то замышлял. Однажды пришел из сельсовета раньше обычного — и не один, а вместе с богатеньким мужичком Иваном Гороховым, Гореловым, по-уличному. Не заходя в избу, они прошли через двор в огород, долго ходили там, что-то прикидывали, вымеряли шагами, энергически размахивали руками, кажется, даже спорили, не приходя к соглашению. В конце концов перестали расхаживать, остановились, согласно кивнули друг другу и, широко размахнувшись, ударили по рукам.

Оказывается, там совершалась сделка. Отец продал, и Иван Горохов-Горелов купил совсем крохотную часть большого нашего огорода и кусок земли перед ним для своего среднего нелюбимого сына Дениса, которого решил отделить и поселить по соседству с нами, по левую от нас сторону. Папáнька рассчитал, что вырученных от этой продажи денег как раз хватит, чтобы купить дойную корову: он не мог допустить, чтобы семья его на целый год оставалась без молока. И потом, рассудил отец, как-то неуютно жить нам одним на юру, на отшибе, без соседей, когда наше подворье открыто всем ветрам да и волкам тоже: их следы мы не раз видели поутру за овечьим хлевом.

По ночам Жулик все настойчивее просился в избу, царапался в сенную дверь, жалобно поскуливал — чуял волков еще на дальних подступах к нашему двору. Пока что серые разбойники осторожничали, приглядывались, примеривались, а могут в какую-то одну из вьюжных ночей перейти к прямым решитель-

ным действиям. А когда рядом появятся еще жители, нам будет повеселее, рассудил папáнька. Так считала и мама. Так думали и все остальные в нашем доме.

Я обрадовался, когда узнал, что у будущего нашего соседа шестеро детей, и малость огорчился, когда выяснилось, что среди них не было ни одного мальчишки. Впрочем, огорчение мое скоро уступило другому, более сильному, тревожно волнующему чувству: я влюбился. И влюбился, что называется, с первого взгляда в старшую из сестер, девятилетнюю Груню, которую увидел, когда их маленький домик, скроенный из разобранного и перенесенного сюда старого амбара, обмазывался глиной, и Груня трудилась тут наравне с матерью и другими женщинами, приглашенными на помощь.

Мáть ее звали Аннушкой — не Анной, не Анюткой, а именно Аннушкой. Удивительно, как только ей, матери шестерых детей — а рождались они у нее ежегодно, — как удалось сохранить такую свежесть, такую ядреность и яркость в лице, и что еще удивительнее — такую девичью гибкость в стане и девичью же упругость в груди. Аннушка не ходила, а летала, порхала, как ласточка, вокруг будущего своего гнезда и была особенно привлекательна рядом со своим мужем, тридцатилетним Денисом, успевшим отрастить такую великолепную бороду, коей позавидовал бы отец Василий, старообрядческий священник (скоро и он станет вторым нашим соседом: большой поповский дом уже выросал по правую от нас сторону).

Денисова же борода была воистину благолепна: черной, с синеватым отливом, волною скатывалась она на грудь ее владельца и была так мощна и тяжела, что даже порывы ветра не могли шевельнуть ее, а у щек она соединялась с такими же черными, подкрученными книзу усами, к которым, уже с головы, по обе стороны, спускались заросли кудрявых цыганских волос. В этой волосне почти не видно было Денисова лица. Лишь большой, несколько крючковатый нос выбирался наружу, на свет божий, да добрые карие глаза кротко поблескивали из-под волосяной наволочи.

Денис подносил бабам замешанную на коровьем навозе и на соломе глину, которую сам же переминал босыми ногами. Вертевшийся рядом, я не слышал, чтобы Денис хотя бы один раз раскрыл сжатые губы и выпустил из себя словечко. Впрочем, не слышал я, может быть, потому, что весь был поглощен Груней, самой, конечно, красивой девчонкой в нашем селе, а то и во всем свете. Я уже заранее ревновал ее ко всем мальчишкам и прежде всего к Ваньке Жукову, который все-таки был намного смелее меня, то есть как раз таким, какие нравятся девчонкам. Не спуская глаз с Груни, я обдумывал, как бы сделать так, чтобы Ванька Жуков никогда ее не увидел, но ничего такого придумать не мог.

Заметив, что я прямо-таки не могу оторвать глаз от ее дочери, Аннушка улыбнулась.

— Што же ты глядишь так, шабёр? Стоишь без дела? Ступай, помогай вон Грунюшке, — сказала она.

Я вспыхнул. Кровь горячею волной устремилась по жилам, заслонила на какой-то миг дыхание, но я,

подавив в себе робость, сейчас же подбежал к Груне, подхватил стоявшее рядом с нею ведро, быстро наполнил его глиной. Девочка молча глядела на меня и улыбалась. Теперь она совсем уж была похожа на свою маму. Смущенный ее близостью, я нагнулся над ведром, выхватил из него тяжеленный кусок и со всего размаха вlepил меж бревенчатых ребер будущей избы, вlepил так, что глиняные брызги полетели мне в лицо и оконопатили его. Груня звонко захохотала.

— Эх ты, неумеха! Ну, кто же так мажет?! — Голосок ее зазвенел теперь уже в самом моем сердце. — Вот гляди! — И она ловко вмазала кусок глины рядом с моим нелепым наплеком, затем окунула руки в другое ведро с водой и выровняла, пригладила оба куска. — Вот как надо. Понял?.. Да как тебя зовут-то?

Я сказал.

— А меня — Груней.

— Я знаю.

— Откель ты узнал? удивилась она.

— А вот не скажу, — поинтриговал я ее немножко.

— Ну, и не говори. Мне-то што! — сказала она, нисколько не обидевшись, и совсем по-взрослому поторопила и меня, и себя: — Што это мы заболтались с тобой. Так мы сроду не обмажем эту стену. Вон моя и твоя мама уже свою заканчивают. Давай, Миш, попроворней!

Рядом с нею я на какое-то время забыл и про Рыжонку, увлекся, в общем-то, бабьей работой настолько, что не чувствовал усталости, таскал глину и для Груни, и для остальных женщин — и все бегом да бегом. И чуть было не задохнулся от радости, когда услышал:

— Вот какой женишок растет для моей Груни!

Уши мои вспыхнули — они не горели у меня так жарко даже тогда, когда знакомились с неласковой папáнькиной рукой после какой-нибудь моей немалой провинности.

Мама, которая по неписаному закону соседства тоже пришла на помощь, удивлялась моему чрезмерному усердию, думала про себя: «Вот, паршивец, как старается! Давеча просила прополоть тыквы — отказался. А тут — во-о-на как!..»

Но я и тыквы прополол, когда работа на Денисовом дворе была закончена, вообще исполнил в тот день и в тот вечер с необыкновенной охотой множество других маминых поручений: настругал щепок для разжиги, вынес ведро помоев для поросенка, заодно очистил его хлевушок, полил огуречные грядки, принес два ведра воды в избу, чтобы была под рукой у мамы, когда она рано утром примется застряпню, соскреб с лопат и мотыг налипшую грязь, убрал со двора грабли, кем-то неосторожно брошенные вверх зубьями, при всем при этом носился как очумелый и воистину ног под собой не чуял, — вот что может сотворить с человеком любовь!

По-видимому, счастье (а я был переполнен им), как и несчастье, не приходит к нам в одиночку. За одним непременно явится другое, независимо от того, ждешь ты его или не ждешь.

Натрудившись и наволновавшись за длинный июньский день, с широко распахнутыми, неподвижно уставившимися в потолок глазами я мог бодрствовать не более пяти минут, а потом, как в омут с разбегу, кувыркнулся в сладчайший и счастливейший беспробудный сон. И где-то лишь под утро, сквозь этот, но уже сдававшийся более зыбким, податливым сон я услышал голос Рыжонки, который различил бы из сотен коровьих голосов. Мгновенно очнулся и замер в ожидании: а вдруг это только и есть сон, а вдруг мне лишь почудилось,— будь оно так, я бы разрыдался. Но это был не сон. Не соо-оо-он! Рыжонка требовательно, на что, конечно, имела полное право, промычала во второй раз: она просилась во двор.

Дом всполошился. Первой выбежала к воротам мама, но открыть их не могла: сердце «зашлось» от великой неожиданной радости. Придерживая его левой рукой, правой она крестила воздух, пересохший рот не мог вымолвить ни единого слова молитвы.

Перед воротами теперь стояла вся семья. А открыл их отец.

Рыжонка вошла на середину двора. С правой стороны к ее боку, поближе к вымени, испуганно жался прекрасный двухнедельный рыжий теленок, вскормленный и вспоенный неразбавленным, всегда парным, теплым для него молоком. Он был десятым по счету у своей матери и единственным, который так долго находился при ней и пил молоко не из корытца или тазика, а прямо из вымени, так, как и назначалось природой. А Рыжонка, укрывшись от нас, ее хозяев, первый раз в своей жизни могла испытать ни с чем не сравнимую радость материнства, данную ей от Бога, радость, которой ее так долго и безжалостно лишали.

Мама, окольцевав руками Рыжонкину шею, исступленно целовала кормилицу. Потом, по очереди, целовали Рыжонку все мы. Теленок не давался. Он бегал вокруг коровы и жалобно, испуганно взмывал. Мы только сейчас вспомнили, что он пока что дикий звереныш, явившийся в этот мир в лесу, вдали от людей, и оставили его в покое, дав возможность самому освоиться с новым, пока что пугающим его миром,— пройдет день-другой, и он, задрав хвост, будет ошалело носиться по двору, полною мерой вкушая радости жизни.

Между тем его мать, удовлетворившись совершившимся, спокойно приступила к исполнению своих обязанностей. Через какой-нибудь час мама уже сидела под ней с подойником. Жулик и Тараканница дежурили за ее спиной. Не было среди них кота Васьки. Несчастный ленивец, он погиб от того, что нарушил извечный закон крестьянского двора: каждый его член должен приносить какую-то пользу тем, кто обитает под крышей дома, или хотя бы не вредить им...

Молоко падало на дно ведра неспешными струйками, потому что теленок оставил его нам немного — две-три кружки, не больше, но зато его сразу же можно было пить: две недели — срок более чем достаточный для того, чтобы молозиво стало молоком.

Радость чрезмерно великой оказалась не только для мамы, но и для меня, и я побежал поделиться ею сперва с Груней, а уж только потом с Ванькой Жуковым.

На этот раз помочь состояла из одних мужиков. Они возводили над избой соломенную крышу, а из саманных тяжелых кирпичей — единственный пока что хлев, неизвестно для кого предназначенный. Сам хозяин вбивал колья для плетня. Груня с матерью пропалывали недавно появившуюся из земли картошку,— сажали ее мы, но теперь она досталась Денису, не вся, конечно, а лишь та малая часть, которая оказалась на купленном им участке.

Увидев меня, Груня отложила мотыгу, подошла ко мне. Часто и трудно дыша, я сразу же выпалил:

— Грунь... Грунь! Рыжонка вернулась!!

Я ожидал, что и она обрадуется, но девчонка непонимающе моргала глазами, пожимала плечами, спросила как-то совсем буднично:

— Какая Рыжонка?

— Да наша, наша Рыжонка! — заорал я и, страшно обиженный, резко повернулся и выскочил с огорода. Сослепу врезался в пузо Грунинуму отцу, едва не свалив его. Я не подумал о том, что Груня могла и не знать о нашем несчастье в то время, когда о нем должны были знать все.

Оказавшись на дороге, побежал к Ваньке,— он-то уж порадуетя вместе со мною как надо! И Ванька вправду обрадовался и собрался было пойти вместе со мною к нам, чтобы собственными глазами увидеть Рыжонку и ее теленка. Но я сказал, что побегу к дедушке в сад и домой вернусь через три дня. Соврал, в общем. Мне не хотелось, чтобы Ванька познакомился с моей юной подружкой.

Когда я вернулся от Ваньки, Груня стояла у наших ворот. Тут же спросила встревоженно:

— Ты што убег-то, Миш? Обиделся?

— Не-э-т,— сказал я нерешительно.

— Я ведь не знала, что у вас корова пропадала.

— Цельных две недели,— уточнил я.

Груня вздохнула:

А у нас нету коровы.

— Как же... нету? — удивился я.

— Есть телочка. Но она еще не корова. Дедушка сказал, что скоро станет коровой.

— А-а,— протянул я, а про себя решил, что по полудни, когда мама подоит Рыжонку во второй раз, выпрошу у нее большую кружку молока для Груни.

Взволнованный счастливой этой мыслью, я расстался с девочкой, пообещав прийти к ним позднее.

На своем дворе увидал такое, чего прежде видеть не доводилось: Карюха стояла рядом с Рыжонкой, положив на ее шею свою тяжелую голову. А сама Рыжонка сладко жмурилась, спокойно пережевывая серку. Она быстро примирилась с тем, что у нее сразу же отобрали дитя, потому что была к этому готова, приученная к такому положению вещей прежними годами.

В течение всего дня на Рыжонкины смотрины приходили почти все родственники, за исключением, разве что, самых малых, тех, что находились в зыбках. Первым с сияющим лицом — не пришел, а натурально прибежал дядя Пашка. И не понять, чему он больше радовался: тому ли, что у брата нашлась корова, или тому, что Красавка останется на его дворе. Когда

пришел из сада дедушка, на Большом Совете было решено, что рожденную в лесу телочку, которая была «вылитой Рыжонкой», то есть до последней черточки похожей на свою мать,— решено, значит, не продавать, а оставить в качестве Рыжонкиной наследницы.

К концу дня пришел и Василий Емельянович Денисов. Он был явно обескуражен тем, что Рыжонка вернулась домой сама, а не он пригнал ее к нам, хотя был очень близок к такой возможности: именно он вышел в самой глубине леса на Рыжонкино стойбище чуть позже того, как корова сама покинула его и увела теленка на свой двор. Одному Богу ведомо, как только умудрилась она сохранить и его и себя от волчьих зубов,— может, серый действительно побаивался коровьих рогов в летнюю пору, в чем уверял нас с дедушкой все тот же Василий Емельянович?

Вскоре он вместе с папáнькой и его братьями принял «посильное» участие в распитии трехлитровой посуды, водруженной папáнькой на стол по случаю возвращения «блудной дочери». А на другой день, по моей просьбе, Волк привел меня и Ваньку к тому месту, где Рыжонка отелилась и провела вместе с новорожденным много дней и ночей. Там, где они лежали и стояли, земля была утрамбована так, что на ней не оставалось ни травинки, ни кустика, а рядом, на небольшой полянке, трава съедена так, будто ее выкосили: старая корова соблюдала осторожность, не отходила далеко от временного своего жилья. Чуть поодаль от лежбища корова и ее «чадо» произвели за эти две недели немалое количество навоза. Когда я сообщил об этом матери, она упросила папáньку, чтобы привезти его на наш двор и сложить в общую навозную кучу. Только плохой хозяин мог оставить его там, в лесу,— так полагала мать.

Теперь Рыжонка и все, что накопилось после них с дочерью в лесу, находилось на нашем дворе. Вместе с Рыжонкой на двор вернулось утраченное было равновесие. Вернулось оно и в дом. Я заметил перемену к лучшему в отце. Он ночевал дома, оставил вроде бы опять и Селянику. С радостным удивлением я видел ночью мать и отца на одной супружеской кровати, чего давно уж не было.

Дай-то Бог, чтобы так было всегда.

16

А по правую и левую стороны от нас были готовы два дома: большой — поповский и маленький, почти игрушечный,— Дениса Горелова. Денис успел вокруг своего огородика вырыть канаву такой страшной глубины и ширины, что это была уже не канава, а ров — мощное фортификационное сооружение, которое возводилось вокруг средневековых замков. Когда он рыл ее, никто не видел: Денис трудился ночью, как крот, и сам был весь черен, как этот маленький хлопотливый зверек. Люди нередко удивляются, зачем бы это кроту «перелопачивать» столько земли, насыпать такое количество кротовых куч? Нам, человекам, считающим себя самыми разумными существами на свете, это кажется сущим безумием, во всяком случае, бессмыслицей.

Еще большей бессмыслицей представлялась нам, соседям, феноменальная Денисова канава. Зачем она ему? Квадратик его огорода со стороны дороги прикрывался общим плетнем, возведенным загодя дедушкой,— убирать его никто из нас не собирался. А ежели еще добавить, что канава-монстр оттяпала одну четвертую часть и без того малюсенького огорода, то нелепость, неразумность ее может показаться совершенно очевидной для всех. Для всех, но не для Дениса. Во всяком случае, на вопрос моего отца, на кой хрен соседка откопал этот ров, Денис, помигав в удивлении своими телячьими ресницами, ответил:

— А как же? Заберется Гришки Жучкина корова — все тыквы пожрет.

— Плетень же был!

— А рази он удержит Непутевую?! Тебе-то, Миколай Михалыч, хорошо так говорить. У тебя во-о-она сколько этих тыкв! А у меня с десятков наберется — и то хорошо.

Отец задумался. А что? Может, не такой уж он глупый мужик, этот Денис. Десять потравленных тыкв там, где их сотни,— невелика потеря. А ежели там, где их всего-то ничего,— это ж беда, даже не беда, а бедствие.

На хорошо возделанных сотках, для удобрения которых папáнька ссудил соседу какую-то толику от нашей навозной кучи, неугомонный и неугомонный хлопотун вместе с такой же работающей своей Аннушкой изловчились посадить все, что привычно видеть на сельских огородах: картошку (она, правда, перешла к ним от нас), свеклу, капусту, огурцы, помидоры, морковь, ну и помянутые тут тыквы; а по-над канавой, на высокой, разровненной насыпи осенью было понатыкано несколько саженцев испанской низкорослой, чрезвычайно плодоносной вишни, черной и красной смородины, крыжовника, малины, а между ними летом вились горохи.

Для того чтобы все это было, ничтожный относительно ее размера клочок Земли и его владелец работали почти круглые сутки. Не работали, а творили до полного изнеможения, и были, конечно, одинаково счастливы.

С восходом солнца Денис на короткое время прерывал работы. С трудом разгибая поламывающую спину, он глядел на восток, и взмокшая аспидно-черная борода его, ниспадая на грудь, плавилась в первых солнечных лучах, а глаза щурились и улыбались чему-то. Сейчас он войдет в свою хижину, осенит себя крестным знаменем перед образами, молча присядет к столу, молча же отхлебнет из блюда, молча встанет, помолится еще раз, поблагодарит молчаливым взглядом хозяйку, приготовившую ему этот завтрак, молча вернется в огород к своей лопате.

Видя, как он старается, я уже и сам с ужасом думал, как бы не забралась в соседний огород Ванькина Непутевая,— сколько бы она там натворила, на мизерном клочке земли, напрягающей вместе с хозяином все свои силы, чтобы не оставить голодной большую семью с ее единственным кормильцем.

Денис и Аннушка перебрались уже со всеми детьми

в собственное жилище, справили новоселье. Мама по такому случаю подарила красавице шабренке одного петушка и трех молодок, а я с того дня прилачился утром, в обед и вечером относить Груне по кружке молока. Краснея, подружка моя брала молоко, отпивала глоток, а остальное относила в избу — там ждало ее еще пять ртов. Возвращая опорожненную кружку и как бы извиняясь, Груня говорила совсем уж как взрослая:

— Весной у нас будет свое молоко. Наша Пестравка обошлась. Мама сказывала.

Моя мать, увидев меня с кружкой во время дойки, осторожно намекала:

— Ты об Анюткиных скурлятах не позабыл? Ждут небось.

— Отнесу и им.

Рыжонка, сама не зная того, кормила своим молоком сразу три дома. В утешение себе мама говорила:

— Ну, ничего, Рыжонка, ничего, Доченька. Хватит на всех.

Оно и вправду хватало: летом старая ведерница приносила с пастбища много молока. Встречая ее, я видел нередко, как из набухших сосков на пыльную дорогу брызгало молоко, не поместившееся в огромном Рыжонкином вымени. Мать теперь могла экономить его и на теленке, который целый день находился на приколе перед домом и пощипывал травку. Забеленное молоком пойло он получал лишь вечером. Он, правда, не находил, что с него хватит, и, быстро опорожнив ведро, подымал морду и громко мычал, недовольный: видно, и у него аппетит приходил во время еды.

«Нет худа без добра» — гласит народная мудрость. А можно сказать и так: «Не познавши горя, не узнаешь и радости».

Жизнь с горчинкой, как и пища, иной раз намного полезней, чем сладкая. Да и не бывает она без нее, без этой самой горчинки, наша с вами жизнь.

Неожиданное возвращение Рыжонки как бы вновь разбудило в нас жажду бурной деятельности. Папáнька, на старом еще дворе заготовивший для новой телеги и четырех ее колес все необходимые части, дал наконец им дальнейший ход, и в одну неделю телега и все ее четыре колеса были готовы, к нашему немалому удивлению. Для этого ему пришлось вставить ни свет ни заря, орудовать топором, долотом, продольной и поперечной пилами и напильником, рубанком и фуганком, стамеской и множеством других плотницких и столярных инструментов, которых давно уж не касалась рука и которые не только сучали, но, как водится, и ржавели без дела. Отец отпросился у председателя сельсовета ровно на семь дней, чтобы исполнить свою работу, — возгоревшись, он способен и «гору своротить», прямо по пословице. Обновил он и ворота. Теперь они были не плетневые, а сколочены из сухих тонких слег, и не скрипели, а пели.

Поздней осенью, когда в саду уже делать было нечего, дедушка приходил к нам и оставался до ночи, но не в доме, а на задах. Соблазнил ли его наш сосед Денис, или восьмидесятидвухлетний могучий старик не знал, куда деть, в какое дело употребить свою воистину богатырскую силу, не растраченную до

конца за целое лето на раскорчевке леса при расширении сада и огорода, — не знаю уж почему, но дедушка вознамерился окружить такой же, как у Дениса, канавой и весь наш огород. Как ни отговаривал его папáнька от этого, дедушка и слушать не хотел. Спрашивал:

— Ты скажи, Микола, сколько тыкв и свеклы пожрали у тебя чужие коровы прошлой осенью? Плетенешко-то, побачь, наполовину порушен, а тебе, сукин ты сын, и горюшка мало!

— Да черт с ними, с теми тыквами! Их народилось столько, что не знали, куда и деть. И подпол ими был забит, Мишкиным кроликам на радость, и все углы в задней и передней комнатах, куда ни глянь — везде тыквы, тыквы, тыквы!.. — горячился отец.

Дедушка, однако, не сдавался:

— Ты шо, Микола, аль забыл, шо в зиму нынешнюю у тебя останется не одна, а две коровы?

— Всем хватит и тыкв и свеклы. Пропасть их уродилось. А какие! Вдвоем надо подымать каждую тыкву. И свекла — что ни корень, то с пуд весом.

— Радоваться этому надо, а ты... — Дедушка сокрушенно махал рукой и брался за лопату.

Вскоре, терзаемые совестью, подключились к нему и мои старшие братья. Пришли на «подмогу» и братья двоюродные, Иван и Егор. И папáнька нет-нет, да тоже выйдет к ним с лопатой, но этот сельсоветский деятель ковырял землю скорее для виду, а большей частью сидел на свежей насыпи да покуривал. Но польза была и от него: за день отец наслушается в своем Совете столько разных историй, что не в силах удерживать их в себе, — теперь щедро делился ими с добровольными землекопами. Дедушке это не очень-то нравилось; хмурясь, он ворочал своей необыкновенно большой лопатой молча, зато от души ржали, как молодые жеребчики, братья, родные и двоюродные. Смеялись они без отрыва от работы — и только это примиряло их с дедушкой, вообще не любившим болтливых людей.

Когда приударили первые морозы, пришли со своими лопатами дядя Петруха и дядя Пашка, не остались в стороне и соседи — Денис и отец Василий. Проходившие по дороге люди с удивлением смотрели на священника не в рясе, а в домотканом зипуне и таких же штанах, да еще не с крестом, а с самой обыкновенной лопатой.

Канавы были вырыты до настоящих морозов и до снега. Начинать ее один человек, а заканчивала уже целая артель, подтверждая истину известной присказки: «Лиха беда — начало». Не думаю все-таки, чтобы дедушка рассчитывал именно на такой исход дела, затеяв его. Он бы вырыл канаву и один, если не в этом году, то в следующем, но вырыл бы обязательно, — надобно знать упрямство этого человека, недаром же он сын Настасьи Хохлушки и сам наполовину хохол! В оставшееся до зимы время он еще успел принести саженцы разносортных яблонь, вишен, черной и красной смородины, крыжовника и малины и погрузить их в хорошо подготовленную почву недалеко от колодезя, которым пользовались теперь и наши соседи. В прошлом году дедушкой же был заложен сад и для большой семьи дяди Петрухи: одного старого сада было

явно маловато для выросших из одного корня четырех семей, и дедушка заранее подумал о том, чтобы у каждой из них был собственный сад. За яблоневыми саженцами он ездил даже в соседнюю Тамбовскую губернию, в город Козлов, к самому Мичурину, но надеялся больше на свои сорта — анис, белый налив, медовку, грушовку, китайку. Любимым для него был душистый, румянощекий анис — он-то и главенствовал в яблоневой части сада и был окружен особым дедушкиным вниманием. И в будущем — уже н а ш е м — саду из пятнадцати яблонь десять окажется анисовых. Памятью обоняния я в любую минуту могу воспроизвести тончайший, исключаяющий малейшую схожесть с каким-нибудь иным аромат их нежнокожих плодов; и он же, этот аромат, вызовет полный рот сладчайшей слюны.

Любовь к анисовому яблоку я унаследовал от дедушки, но проявлялась она у нас по-разному: дедушка с повышенным усердием ухаживал за яблоней-анисовой, а я с еще большим усердием поедая ее плоды.

Как известно, сельской ребятне всегда не хватает своих яблок, и она, ребятня эта, любит промышлять в чужих садах. У меня же получилось по-другому: я повадился лазать на подлавку поповского дома, когда он еще достраивался и когда (после второго Спаса) батюшка завозил туда анисовые яблоки для того, чтобы они отлежались перед мочением. Принадлежи я к старообрядческой, кулугурской, вере, то непременно покался бы отцу Василию на исповеди в числе других и в этом своем грехе...

До сих пор не знаю, обнаружил ли он убыль в своей заготовке или нет. Скорее всего не обнаружил, потому что похищал я пахучие плоды так, что сразу и не заметишь, что часть их похищена: из рассыпанных по чердаку яблок я в разных местах брал по одному, бросал их себе за пазуху и стремительно спускался вниз по лестнице, неосмотрительно оставленной хозяином у глухой стены дома, прямо напротив дверки, ведущей на подлавку.

На нашем уже дворе меня ожидал с добычей Ванька Жуков. Сообща мы быстро уничтожали ее. Ваньке до смерти хотелось и самому наведаться к батюшкиным яблокам, но я не разрешал ему: увлекшись, войдя в азарт, дружок мой мог бы и попасться, выдать заодно и меня. А это обещало превеликую порку от наших отцов, да и сам святой отец не отказал бы себе в удовольствии пройтись по нашим голым задам арапником. Будущим летом он проделает такое с нами, прихвативши на своей бахче. Хорошо еще, что у него не оказалось в руках ружья, которое на такой случай заряжается солью...

...Проводив Ваньку домой, я отправлялся в опасную экспедицию во второй раз: мне ведь надо было угостить и Груню. Она с удовольствием принимала от меня этот подарок, не подозревая, что он краденый. Надкусив яблоко, охнув от наслаждения, она спрашивала:

— Это в вашем саду такие?

— В нашем, — отвечал я, вспыхнув: в ту пору обо мне еще нельзя было сказать, как говорят о завзятых лгунишках: «Врет и не краснеет».

Я краснел. А Грунино лицо было так близко, что брызги от поедаемого ею яблока попадали и в мое лицо, и, замирая от счастья, я боялся смахнуть их. Голова малость кружилась от запаха ли анисового яблока, от Груниных ли глаз, смотревших прямо в мои глаза. Сейчас и сама девочка с ее влажным, румяным ртом и розовыми щеками была похожа на анисовое яблоко. Мне хотелось еще немножечко пододвинуться к этим ее мокрым от яблочного сока губам и дотронуться до них своими пересохшими вдруг губами, но у меня, конечно же, не хватило для такого безумного шага смелости. А Груня вроде бы как раз этого и хотела: в какую-то минуту перестала было хрумкать яблоко, остановилась с полукоткрытым ртом и глядела на меня испуганно-ожидаящими, притуманенными неожиданно легкой грустью глазами. Я не выдержал этого ее взгляда, ушел поскорее домой, растерянный и теперь уже определенно несчастный. Я понимал, что это было моим позорным бегством.

17

Первый месяц нового, 1929-го, года принес нашей семье не новое счастье, как бы ему полагалось, а самое большое горе, какое только может быть на крестьянском дворе: волки зарезали годовалого жеребенка¹, который, по расчетам отца, должен был заменить свою мать, старую, вконец износившуюся Карюху. На смену ее ровеснице и напарнице Рыжонке готовилась ее дочь, названная Полянкой, поскольку родилась на глухой лесной поляне. Но ни одному из папаныкиных замыслов не суждено было осуществиться: Карюху отец отвел на общественный двор во второй день создания в нашем селе колхоза, а Полянку, боясь, что ее отберут (двух коров одной семье держать не полагалось), заблаговременно продали. Так что Карюха и Полянка покинули двор одновременно. Никто, кажется, и не подумал в те дни, что с этого момента началось его крушение.

Охваченные эйфорией «второй революции», местные активисты и пришедшие из больших городов, в основном из Ленинграда и Москвы, двадцатипятидесятники (у нас это был Зелинский) спешно придумывали для своих детищ названия, под которыми вскорости были погребены собственные имена сел и деревень. Вместо привычных Марьевок, Ивановок (Новых и Старых), Екатериновок (Больших и Малых), вместо старинных княжеских Чаадаевых, Шереметьевых, Салтыковых, Нарышкиных; вместо трогательно поэтических, обласканных и согретых душою «природных пахарей» Ясных Зорек, Светлых Родничков, Отрадных, Холодных и Горячих Ключей; вместо Кологривовых и Колокольников, могущих указать на Екатерининскую эпоху, когда вольных запорожцев изгнали с родных мест и они вынуждены были искать прибежище в приволжских степях; вместо Ной-Вальтеров и Ной-Франков, в коих с давних, может быть с тех же Екатерининских, времен проживали немецкие колонисты, эти

¹ Как это произошло, рассказано мною в повести «Карюха».

«неисправимые» фанатики высочайшего порядка всюду и во всем,— вместо всего этого явились колхозы и совхозы, названия которых должны были увековечить имена умерших и здравствующих вождей революции.

В одном моем Баландинском (ныне Калининском) районе четыре коллективных хозяйства были наречены именем Ленина. Фантазии крестных отцов хватило лишь на то, чтобы ленинское имя как-то варьировалось. В одном случае это был колхоз Имени Владимира Ильича, в другом — просто Ильича, в третьем — Заветы Ильича, в четвертом — Путь Ильича. Вслед за Лениным, не уступая ему, шел Урицкий: по правую и левую стороны Волги его именем названы не только многие колхозы, но и улицы крупных и мелких городов, а также промышленных предприятий (присовокупите к ним еще школы, дворцы пионеров, стадионы). Этот почти юноша, который ни единого разу не побывал в моих краях, прервал без малого трехсотлетнюю историю богатейшего села Голицыно, находившегося в десяти верстах от моего Монастырского (ясными воскресными утрами мы слышали соборный звон самого большого голицынского колокола, коему «подпевали» колокола в наших трех и во всех других церквях окрестных селений).

Ной-Вальтер и Ной-Франк были пожертвованы светлой памяти ближайшего соратника Ленина — Якова Михайловича Свердлова. Его именем назван колхоз, объединивший два этих старинных немецких села, погасивши одновременно в памяти нынешних поколений первоначальные их имена: прежние жители были высланы в сибирские и казахстанские края в годы минувшей войны, как можно подальше от Фатерланд, их праматери... Немало и русских сел и деревень безропотно уступило свои исконные, изначальные имена только одному этому звонкому имени.

Не хотели отставать от почивших в бозе революционеров и здравствующие на ту пору руководители. Множеству колхозов и совхозов присваивались имена Сталина, Калинина, Кирова, Молотова, Кагановича, Ворошилова... «Именные» перемежались символическими, где корневым было слово «свет». Из него уж вырастали и «Свет коммунизма», и «Светлый путь», и «Светлое будущее», и просто «Рассвет».

Не уступало «свету» и «знамя», вокруг которого в творческих муках местных предводителей являлись на свет Божий и «Знамя новой жизни», и «Знамя Революции», и «Знамя Октября», и, конечно же, «Красное Знамя»,— знамен этих в одном Нижне-Волжском крае набралось бы десятка три. Безжалостный плуг революционного «гранестиранья», выравнивания, выпрямления прошелся не только по городам и весям, но и по нашим душам, вытравив, выветрив из них, оборвав живую связь времен, опустошив их со всеми неизмеримо тяжкими последствиями, когда, не стыдясь перед своими предками, покоящимися близ этих Марьевок и Ивановок, можно уже было бодро напевать:

Мой адрес — не дом и не улица.
Мой адрес — Советский Союз.

Село Монастырское оказалось под сенью «Знамени Коммуны» — это было первым названием нашего колхоза, созданного в достопамятном 1930 году. Из каких-то (не помню, из каких именно), очевидно, все-таки самых высоких соображений, названия его менялись через каждые пять — семь лет.

В отличие от взрослых, нас, детей, новизна эта скорее радовала, чем пугала. Встречаясь с Груней и другими сверстниками, мы хвастались галстуками, горевшими ярким пламенем на худеньких наших шеях, и, обнявшись, пели такие же пламенные революционные песни. В эти минуты мы с Груней уже не стыдились нашей близости. Глаза и щеки горели, когда на самой высокой ноте, готовой оборвать голосовые связки, гневно возглашали:

Тираны мира, трепещите!
Не умер Ленин — Ленин жив.
Вы нас, вы нас не победите:
Живет в нас ленинский порыв!

Порыв этот, очевидно, удерживал во мне слезы, которые приготовились было покатиться из глаз, когда отец уводил Карюху с нашего двора. Я сидел на ней верхом, не сидел даже, а лежал, судорожно обхвативши ее шею. За спиной, постепенно угасая, слышалось безутешное, разрывающее мою душу, рыдание матери. Слышал его и папáнька, но в каменном своем молчании ни разу не оглянулся и не остановился. Введя Карюху на широкое подворье только что раскулаченного Якова Крутякова, где пока что оказалось лишь несколько лошадей, в том числе и упитанные, выхоленные жеребцы их хозяина, папáнька почти бегом выскочил на улицу и, так же, как у собственного дома, не оглядываясь, заторопился в сельсовет.

Я же не мог так быстро расстаться с Карюхой — оставался на «общем» дворе до позднего вечера, до того момента, пока новоиспеченный колхозный конюх, коим оказался Семен Тверсков, то есть Скрыла, в собственном дворе которого ни разу не было ни одной приличной кобылы,— пока, значит, этот самый Скрыла не спровадил меня домой. Я не сразу подчинился ему, потому что оберегал Карюху, отгонял от нее молодых озорных маток, которые, едва оказавшись на чужом для всех для них колхозном дворе, затеяли отчаянную драку между собой. Визжа, они кусались и лягались, могли в любую минуту обидеть и Карюху, которая предусмотрительно ушла в дальний конец двора и там стояла неприкаянно, неизбывная печаль светилась в глубине ее умных карих глаз — теперь она, эта печаль, уже не покинет старую до последнего часа ее жизни. Я видел ее годом позже, когда Карюха, на которой я отвозил обмолоченную солому для скирдования, сорвавшись с самой вершины гигантского (кажется, первого) колхозного овина, какое-то время беспомощно висела на хомуте, а потом рухнула на землю вместе со мною и волокушей и долго не могла подняться. Вот тогда только и я дал волю своим слезам. Где-то рядом слышал голос Федота Михайловича Ефремова и другого мужика. Последний возмущался:

— Какой это дурак поручил пацану такое дело?! И кто же вершит так омет? Сперва надо было при-

жать солому-то по бокам гнетом¹, чтобы не распозалась в стороны, а потом уж...

Федот усмехнулся, многозначительно пообещал:

— Погодь маненько. Придет час — так прижмут нас с тобой энтим самым гнетом, што и пикнуть не смогём...

— Эт как же... это? — Мужик растерянно замигал красными, воспаленными от пыли глазами, непонимающе раскрыл рот да так и стоял, пытаясь разжевать собственным умишком только что услышанное.

— А вот так! — кинул небрежно Федот и перед тем, как скрыться за ометом, добавил: — Аль ты не знаешь, теперича што бы ни случилось — все к худшему. Так-то вот, голова твоя садовая! Што зенки-то вылупил? Аль не понял?..

Я, конечно, не слышал, что там такое сказал Федот Михайлович. Упав на Карюху, я плакал, а мужик, плюнув вслед ушедшему мрачному предсказателю, принялся ощупывать Карюхины ноги: не поломаны ли. Убедившись, что не поломаны, освободил несчастную от хомута и от волокуши, начал дергать ее за поводок узды. Карюха тяжело, страдальчески, по-старушечьи вздохнула, напряглась вся и, к неопишуемой моей радости, неожиданно быстро встала, встряхнула кожей, освобождаясь от щекочущей соломенной трухи, поглядела на меня не то с укором, не то с сожалением: как же, мол, это ты? — или: как же это мы с тобою так?..

Я долго не мог примириться с мыслью, что Карюха теперь не наша, что она принадлежит всем сразу, что любой человек может запрячь ее в телегу или сани, а то и сесть на нее верхом, не спрашивая на то ни моего, ни папаныкиного разрешения. Не соглашаясь с таким положением вещей, я старался все лето, до занятий в школе, быть при моей Карюхе всюду, куда «наряжал» нас с нею бригадир. Нередко, при благосклонности того же бригадира, вводил старую на всю ночь домой, возвращая на короткое время нашему двору почти прежнее содержание. Правда, и мне и всем в доме было больно видеть, как поутру Карюхе страшно не хотелось уходить от нас.

В конце концов отец запретил мне приводить Карюху домой: пускай, мол, привыкает к общему колхозному двору, коли такое случилось.

— Чему быть, тому не миновать, Мишанька, — говорил дедушка; после смерти своей матери, нашей прабабушки Настасьи Хохлушки, и отъезда младшего сына он «насовсем» перебрался к нам.

Павлу Михайловичу грозило раскулачивание, поскольку его отец, мой, стало быть, дедушка, владел отрубями, приобретенными во времена незавершенной Столыпинской реформы, и за несколько лет до коллективизации доставшимися при разделе ему, дяде Пашке. По совету моего отца младший его брат и отправился на сланцевые рудники в далекий город Гдов, куда раньше него перебралось из нашего села несколько «кандидатов» на раскулачивание.

После того, как Карюха окончательно ушла от нас на «обчий» двор, стал быстро рушиться наш собствен-

ный. Без своей лошади (колхозную не давали), без своего поля и своего надела лугов, которые сделались тоже «обчими», мы не могли заготовить ни соломы, ни сена, ни мякины (все это можно было добыть лишь на колхозном гумне, но это считалось бы воровством «общественного», что жесточайше каралось). Короче говоря, уже ко второй колхозной зиме половина овец была продана, а вторая половина — сведена нами самими еще до наступления общеистребительного 1933-го. Попытались было оставить пару ярчонок, но они без своих матерей и старой Козы почувствовали себя круглыми сиротами; выпущенные на заснеженный, кое-как убираемый двор, они тыкались глупыми своими мордами в плетень и непрерывно жалобно блеяли, буквально не находя себе места. Наказавшись на них, отец решил расстаться и с этим остатком недавно еще большой овечьей семьи.

33-й встретили с одной Рыжонкой, которую все-таки можно было прокормить свеклой и тыквами, уродившимися, как всегда, в изобилии.

Правда, на заре можно еще было услышать кочетинное кукареканье. Но это уже не Петькин голос, а его внука, оставленного для трех молодок, взятых мамой у Тараканницы в последний год жизни этой удивительной курицы.

Умерла, превратившись в черноземный прах, и навозная куча, всегда возвышавшаяся посреди двора и как бы венчавшая его: ее уже не разделявали в кизяки, потому что топливо все мы, вчерашние бедняки и мало-мощные середняки, а теперь колхозники, находили во дворах раскулаченных и в других, брошенных их прежними хозяевами по разным причинам.

18

В 32-м начался следующий акт грозно разворачивающейся народной трагедии: повсеместно закрывались церкви. Колокола были сброшены на землю. Поверженные, они молчали. Над селами повисло угнетающее безмолвие. И, пожалуй, было бы странно и противостественно, ежели б колокола по-прежнему звонили, — благовест мог разливаться над Ивановками да Екатериновками, но отнюдь не над лишенными живого тепла, вымученными, чужеродными, наспех придуманными, холодными словообразованиями, которым из всех сил противилась христианская душа русского пахаря. К тому же большинство колхозов и совхозов носило имена воинственных безбожников, в основном тех, которым эта душа была не только непонятной, но и чуждой, извечно пугающей.

Над селами, деревнями и хуторами долго еще не стихал бабий вой. Это плакали наши матери, не отстоявшие церквей. Все ниже и ниже клонили к земле свои головы седобородые старцы, умоляя ее, землю, поскорее прибрать их к себе. И она, мудрая и милосердная, не отказывала им в этом: старики, будто сговорившись, один за другим начали умирать еще за год до всеобщего мора, коим означил свое пришествие Людоед 33-й. Только, кажется, один мой дедушка, которого природа одарила невероятной физической мощью

¹ Толстая слега, которою прижимают воз соломы или сена, а также копну либо овин, как в данном случае.

и соответственно ей душевной жизнеустойчивостью, дотянул до его середины. Отцы же наши больше молчали. Многие натужно силились разобраться во всей этой жуткой кутерьме и сумятице, в том числе и той, которая копошилась в их головах и лишала сна.

Папáнька приходил домой на рассвете мрачнее самой мрачной тучи. Что-то не ладилось у него с новым председателем сельсовета Ворониным, изготовившимся к изъятию хлебных «излишков» у населения. Отец хорошо знал, чем это кончится для его односельчан, а потому и мрачнел, доходя иной раз до отчаяния.

Только мы, дети, были веселы и беззаботны, даже помогали комсомольцам тем, что пытались увести своих богомольных матерей с церковной площади, где целую неделю бушевал подлинный бабий бунт против нехристей. В школе под руководством ее директора Михаила Федотовича Панчехина разучивали все новые и новые песни, исполненные революционного оптимизма:

Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Или вот эта:

Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути:
В руках у нас винтовка!

В смысл слов глубоко не вникали, потому и не задумывались над тем, почему бы это все мы должны остановиться в коммуне и не «филе марширен», не маршировать триумфально дальше, и почему, когда «в руках у нас винтовка», иного пути, кроме того, что ведет к коммуне, быть уже не может?..

Молодежь, вся поголовно, заболела «тракторной» болезнью. Наш Ленька, как и все из первой волны трактористов, ходил чумазее любого трубочиста и даже гордился своей чумазостью; во всяком случае, я не видел, чтобы он хоть раз попытался отмыть свою озорную, вечно улыбающуюся белозубую рожицу. Девчата, поголовно влюбленные в трактористов, тоже не торопились избавиться от романтических пятен, оставленных на их щеках и платьях парнями, которые первыми оседлали «железных коней». Утром, направляясь на колхозное поле, девушки напевали:

По дорожке по ровной, по тракту ли,---
Все равно нам с тобой по пути,
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!

Поэт Иван Молчанов прочитал в какой-то молодежной газете об очередном злодействе кулаков, которые в глухом сибирском селе сожгли заживо тракториста Петра Дьякова, и сочинил эту песенку, тотчас же облетевшую все города и веси страны. Позже, впрочем, выяснилось, что сгорел лишь трактор, а сам тракторист каким-то чудом остался жив, сражался потом на фронтах Великой Отечественной. Молчановская песенка, однако, продолжала звучать. Поют ее кое-где еще и теперь.

Директор школы придумал для нас чрезвычайно важное дело — сопровождать «красные обозы» с хлебом в район. Михаил Федотович вооружил нас

пионерскими барабаном и горном. Всю дорогу от Монастырского до Баланды мы самозабвенно, без передышки, барабанили и дудели, подбадривая мужиков, которые сидели на возах с рожью и пшеницей, нахохлившись. Ни наше усердие, ни красный флаг на передней подводе что-то не веселили их.

Ванька, выпучив глаза и надув щеки, отчаянно дудел, а я колотил в барабан двумя выкрашенными в алый цвет палочками. Прекращали дудеть и стучать для того лишь, чтобы пропеть:

Красный барабанщик,
Красный барабанщик
Крепко спал, крепко спал.
Вдруг проснулся, встрепенулся —
Всех буржуев разогнал!

Все это происходило тогда, когда не только двор, но и дом наш наполовину опустел: Санька, сделавшись учетчиком тракторной бригады, ночевал вместе с Ленькой в поле, в будке, которую не без гордости называли тракторной. Отец, вконец рассорившись с Ворониным, перебрался в Малую Екатериновку, большое украинское село в тридцати километрах от Монастырского, прихватив с собою и Селяниху¹ Сестра, у которой не сложился брак с Акимом Архиповым, уехала к дяде Пашке в город Гдов, где вскоре вновь, но на этот раз уже счастливо, вышла замуж. В доме оставалось по сути нас трое: дедушка, мама и я, ну, а во дворе, как уже сказано, Рыжонка и несколько кур.

Опустел и новый большой дом отца Василия. Папáнька успел-таки «выправить» для него нужные бумаги, и батюшка с семьей в одну ночь собрался и навсегда покинул село, бросив все хозяйство, в том числе и большое количество церковных книг в толстых кожаных и дубовых переплетах. Часть толстенных фолиантов я, считавшийся в доме главным грамотеем и книгоцеем, перетаскал к себе и по вечерам читал больной матери и дедушке некоторые главы от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, в первую, конечно, очередь полюбившегося мне больше всех апостола Павла. Подражая дьякону, которого не раз слышал в церкви, читал нараспев дрожащим от волнения голосом:

«От Святаго Апостола Павла чтение...

Растягивал слова елико возможно длиннее, волнение мое передавалось благодарным слушателям, глаза их увлажнялись. Мама, покинутая моим отцом, впала еще в большую религиозность (она и до того была чрезвычайно набожной), сейчас потихоньку плакала. Я это видел не только по ее глазам, но и по вздрагивающим плечам, а также по судорожному прерывистому дыханию. Дедушка (он же был ктиторм в нашей православной церкви) давал направление моему чтению, указывал на то или другое место в Евангелии. Иной раз я вдруг вспоминал, что являюсь пионером, и, напугавшись, прерывал чтение, но ненадолго: умоляющие глаза матери оказывались сильнее моего пионерского атеизма.

Чтение продолжалось порою далеко за полночь, пока мама не спохватывалась:

¹ Об этом подробно рассказывается в «Драчунах».

— Царица небесная! Да што же мы делаем? Гасу в жбане осталось несколько капель, а мы все жгем и жгем его! В кооперации давно нету, придется теперь сидеть в темноте...

В последующие ночи читали при лампадке, висевшей перед образами и снимаемой на время чтения на стол: лампадке керосин не требовался, она заправлялась конопляным маслом. Добрались мы и до свечей, которые хранились в зеленом дедушкином сундучке — дедушка недавно еще ходил с ними в церковь.

Сейчас у всех троих было побольше свободного времени: двор почти обескотинел. Рыжонка и куры оказались под моим присмотром. Маме оставалось лишь подоить корову. Раньше она делала это с большой радостью, приступала к дойке со святой молитвой, как сама говорила, теперь же — как-то вяло, без обычного одушевления, иной раз забывала даже осенить себя и Рыжонку крестным знаменем. А к январю нового, 1933 года мамины силы резко пошли на убыль, и когда по амбару и чулану прошлась железная метла «изымания хлебных излишков», когда в сусеках бегали одни голодные мыши (отобрали и то немного, что получили мои старшие братья на трудодни), мать совсем обессиленна и доить Рыжонку пришлось мне самому.

Рыжонка же этого не хотела, поначалу отшвыривала меня от себя вместе с ведром, все глядела при этом на дверь, ждала хозяйку. Отставив подойник, я подходил к корове спереди и смотрел в чудные, всегда печальные, а сейчас особенно грустные ее глаза и уговаривал:

— Рыжонка, милая!.. Мама хворает. Не может она выйти и подоить тебя. Ну, совсем, совсем не может! Слышь, Рыжонка?!

Корова молчала. Поняла ли она в конце концов, о чем ее просят, или ей стало уж очень больно от перегруженного молоком вымени, но она вдруг смирилась, когда я вновь — в десятый, кажется, раз подсел с ведром и когда по нему застучали сперва робкие и редкие капли молока, — так падают на землю после затянувшейся засухи капли долгожданного дождя. Неумелые руки и весь я дрожали от напряжения, пальцы немели, молоко наполовину попадало в рукава рубахи. Я готов был расплакаться, но за моей спиной стоял дедушка и подбадривал:

— Ничего, Мишанька! Сразу-то ничего не получается. Потом получится. Ты только не натуживайся так, расслабься. Рыжонка сразу почувствует это и не будет придерживать молочко. Попробуй-ка!

Я «попробовал» — и дело пошло! Правда, я очень боялся, что за этим определенно бабьим занятием меня увидит Груня. Соседи так и не дождались, когда их телка станет коровой: за неуплату каких-то налогов ее у них отобрали. Дело в том, что Денис, дорвавшись до своего куска земли и боясь потерять его, упорно не хотел вступать в колхоз, за что и был непрерывно облагаем заодно с Яковом Соловьем всеми мыслимыми и немыслимыми налогами, придуманными специально для них изощренным мучителем Ворониным. А по малым их полоскам в поле прошелся мой брат Ленька тракторным плугом, не подозревая, что одна

из них принадлежит нашему шабру. Теперь у Дениса не было ни пахотного надела, ни коровы; оставался огородишко при доме, ухоженный, правда, так хорошо, что на нем Денис умудрился вырастить не только овощи, но и просо, помня, похоже, про крестьянскую пословицу: «Щи да каша — пища наша».

Я по-прежнему относил Груне и ее сестренкам по кружке молока, а вот для «скырлят» ничего уж не оставалось. 33-й унес в небытие сперва самого Скрылу, а потом уж всех его дочерей. Уцелели лишь жена и сын, мой непочетовский дружок Ванька, — им как-то удалось вырваться из мертвой хватки страшного голода; собравши последние силы, Анютка увела старшего в город — там и выжили¹

Федот Михайлович Ефремов, проведавший нас в самые трудные минуты моего вступления в роль дояра, очень памятно посоветовал:

— Держись, Мишка, обеими руками за рога и хвост Рыжонки, не отпускай ее от себя, потому как только она и спасет вас от смерти. Слышь?

— Эт почему же, дяденька Федот?

— А ты спроси у самого себя — почему?

Тут уж я совсем ничего не понял, глядя на папанинского друга с раскрытым в крайнем недоумении ртом.

Федот Михайлович решил помочь мне уразуметь брошенную им загадочную фразу:

— А кто стучал в барабан в Красном-то обозе? — обычно добрые глаза мужика построжали.

— Ну, я...

— Знамо, ты. Вот и настукал беды на нашу голову. Весь хлебец-то вывезли подчистую. Сперва колхозный, а теперь вот и до наших сусеков добрались. Што будешь лопать, пионер, всем пример?! Вона как ухватился за сиськи своей Рыжонки, вклеился в них!.. Это ты правильно сделал, хохленок. Не выпускай их, не то — сперва зубы на полку, а потом уж копыта откинешь. Понял, красный барабанщик?

Федот Михайлович положил свою теплую тяжелую руку на мою голову, поворошил и без того взлохмаченные волосы, пощекотал еще своей козлиной бородой лицо, пожалел:

— Што же папанька твой?.. Совсем оставил вас? Я промолчал.

— Ну, ну... Ты, никак, плакать собрался?.. Ничего, хохленок, держись. Живы будем — не померем.

19

О Федоте Михайловиче Ефреме не скажешь, что это, мол, Федот, да не тот. Он оказался едва ли не мудрее и предусмотрительнее всех на селе в канун ужасающего бедствия. Именно Федот дал и нам и притом вовремя — самый разумный совет — держаться за корову. Помня об этом, мы с дедушкой заготовили для нее кормов на всю зиму, а в наших

¹ Ванька вернулся домой вскоре после войны: вся грудь в «крестах», то есть в орденах и медалях. Голову, однако, сохранил, не оставил в «кустах». Сразу женился. Через два десятка лет у него уже было десять детей, в основном мужского полу. Что не удалось отцу, удалось сыну...

краях она бывает бесконечно долгой. Вдвоем копались в огороде с утра до позднего вечера, копались в буквальном смысле этого слова, поскольку речь идет о картошке и свекле (с тыквами управились раньше). А свеклы уродилось столько, что она не могла поместиться в общем погребе и дедушке пришлось выкопать для нее отдельную яму; мы ее заполнили до краев и замуровали как «стратегический запас». Именно она-то и кормила не только Рыжонку, но всех нас в конце зимы, потому что хлеба мы не видели на своем столе с самого Крещения. Что касается «сладкого корнеплода», то я в том 33-м наелся его, кажется, на всю жизнь: сейчас глядеть не могу ни на винегрет, ни на другую еду, где «присутствует» свекла; даже запаха свекольного не выносит мой нанюхавшийся его сверх всякой меры нос. Неблагодарный, я должен был бы помнить всегда, что именно ей, свекле, в первую очередь обязан тем, что живу.

Тыкв и картошки хватило лишь до Масленицы — то и другое более чем наполовину ушло к дяде Петрухе, большая семья которого первой почувствовала на себе погибельное дыхание голода. Увы, наш погреб не мог спасти моих двоюродных братьев и сестренки. Они угасали первыми. Видя, что ничем не может помочь им, упал духом дядя Петруха; непослушными ногами он с великим трудом добирался до нас, садился на скамейку и обводил стены, печь, посудную лавку, кровать возле двери и саму дверь долгим полубезумным взглядом. Ничего не просил, а только глядел вот так и молчал. Сама еле живая, мама совала в его руку холодную вареную картофелину; он подносил ее к глазам, смотрел, обнюхивал в недоумении, и когда картошка падала на пол, не пытался ее поднять. Лицо дяди Петрухи было совсем черным, а волосы, вчера еще темно-русые, стали почти белыми.

И все-таки дядя Петруха продержался до середины лета и помер в один день с бабушкой, — их и положили рядом в одной могиле. Вслед за малыми детьми и мужем отправилась и тетка Дарья; старшие Иван и Любовь (Любанька, как все звали ее), Егор и Мария покинули дом раньше, — братья перебрались в Саратов, но смерть и там настигла их; а Любанька, вышедшая замуж в 32-м за парня из соседней деревни Панциревки, обессиленная голодом, не смогла разрешиться от бремени, умерла при родах. Уцелела лишь одна из ее сестер, Маша, которая завербовалась и уехала в какую-то неведомую нам Уль-Ату, впоследствии привезла оттуда «веселую» песенку, начинавшуюся словами:

Уль-Ата нам надоела
И разула, и раздела.

Оставался до 34-го восьмилетний ее брат Мишка, оказавшийся в детдоме прежде, чем голод добрался бы до него. Но, простудившись, Мишка умер.

Так из трех семей и трех дворов, выросших из одного корня, оставались лишь часть одной нашей семьи и один наш двор, да и те медленно и верно угасали.

Дедушкину смерть поторопило «родное пепелище», на которое он заглянул в последний раз в июне месяце.

Окна его старого дома были наглухо заколочены деревянными пластинами еще в 30-м, сразу же после того, как из него выехала семья дяди Пашки, и, ослепший, дом ожидал своей неминуемо скорой гибели. Первой начала разрушаться соломенная крыша. Сперва изба облысела, как и должно было случиться с долгожительницей, предоставленной самой себе: темная, обомшелая, перегоревшая и перепревшая, не заменявшаяся в течение многих-многих лет солома, начав с конька, тяжкою лавиной, как оползень в горах, сдвигалась все ниже и ниже и местами уже нахлобучивалась над и без того слепыми глазницами окон (стекла были разбиты при небрежном, торопливом заколачивании пластин). В начале 32-го крыша сползла окончательно, обнажив ребра стропил и предоставив людскому взору высоченную нагую трубу. К весне 33-го деревянная часть избы совершенно исчезла: ее растащили полуживые соседи на растопку голландок, чтобы не умереть еще и от холода. Долее всех удерживалась труба: скорбным памятником исчезнувшей тут жизни возвышалась она, упершись, как в пьедестал, в большую, сложенную из долговечного каленого кирпича печь, более ста лет кормившую теплым душистым хлебом и обогревавшую никогда не мелевшую, непрерывно пополнявшуюся реку большой крестьянской семьи.

Двор опустел и оттого сразу же умер, потому что никому уже не был нужен: дядя Пашка распродал скотину перед тем, как навсегда покинуть село. Забор, ворота, плетни, хлевы и сарай в тот же год проглотили прожорливые рты чужих печей: никто из нас даже не пытался помешать этому. Более печального зрелища, чем обесскотинившийся двор, трудно вообразить, в особенности жителю деревни. А тут еще Федот Ефремов, увязавшийся за бабушкой на эти скорбные смотрины, подсоллил душевные раны старого земледельца, сказав:

— Это ить, Михайла Миколаич, не двор твой сгорел — занялась пагубным пламенем вся Расея-матушка. Ить это ее, сердешную, подталкивают железным локотком к могиле... Подумать только! Вчера еще в нашем селе были богатые и бедные. А теперича — все бедные. Всех уравниали, подстригли под Семена Скрылу. Может, так-то вот, налегке, скорее добежим до коммунизму, а?

— А ты, Федотушка, попридержал бы свой язычок, — посоветовал бабушка. — Как бы тебе его не оттяпали вместе с головой.

— Тай ей и надо, коли дурная.

— Ну, шо ты, Федотушка! Не такая уж она у тебя дурная!

Сказав это, бабушка надолго замолчал. Глаза его, до глубокой старости сохранявшие в себе небесную синь, ясность, сейчас приугасли, сделались пепельно-серыми, как все, что явилось ему на месте дома, построенного тут его отцом, а моим прадедом — старым солдатом, участником Крымской кампании, послужившим Вере, Царю и Отечеству без малого четверть века.

Однако в еще большую угрюмость погрузился бабушка, когда увидел, что и сад его, сделавшийся

«обобществленным», тоже погибал. Может быть, только теперь дедушка и решил про себя, что делать ему на этом свете больше нечего. Он решительно отказался выходить к обеденному столу, когда мама ставила на него слабыми своими руками кое-какую еду: забеленную молоком похлебку и чего-то там еще.

Дедушка как лег на кровать, стоявшую слева от входной двери, да так и не вставал с нее — ждал смерти. Она тихо пришла к нему на десятый день.

В тот день, как уже было сказано, умер и дядя Петруха. Умер по дороге к нам. Его кто-то подобрал и привез на двухколесной тележке, похожей на большую тачку, на наш двор.

Теперь они лежали рядом. Отец и его старший сын, давший начало большой семье, ныне стремительно убывающей.

20

Наша изба окнами своими глядела на дорогу, по которой уносили и увозили покойников. Сперва в гробах, маленьких и больших, а потом просто так, в чем застала человека смерть, либо завернутых в рваную дерюгу, — этих везли на самодельных тележках, двух- и четырехколесных, быстро вошедших в «моду» после того, как все колхозные лошади подошли от бескормицы (фураж выскребли почему-то прежде хлеба), потом и вовсе уж не отвозили, а прикапывали наспех, кое-как прямо во дворах, на задах и даже улицах; скоро и совсем не прикапывали; черные, облепленные жирными зелеными мухами гниющие тела можно было увидеть повсюду; в поисках съедобных корней мы с Ванькой Жуковым наткнулись возле одного болота на мужика, у которого до костей были обглоданы ноги и руки какими-то зверями. Сладковато-приторный запах разлагающихся трупов висел над селом, но никто не обращал на него внимания, потому что сами-то люди по большей части были не что иное, как живые трупы.

А поиски «хлебных излишков» продолжались. Осатаневшие от неудач «изыскатели» добрались со своими щупами и до нашего первого соседа. Добрались тогда, когда треть Денисовой семьи уже вымерла. Кружка молока, которую я, теперь уже украдкой от мамы, относил Груне, не могла спасти трех ее младших сестренек. Сам видел, как сгорбившийся, сделавшийся стариком тридцатипятилетний Денис относил под мышкой один за другим крошечные гробики из неотесанных досок (Денис еще находил в себе силы, чтобы сколотить их). Боясь, как бы и Груня не отправилась вслед за ними, я чуть ли не со слезами упрашивал, умолял ее, чтобы она выпивала принесенное мною молоко сама. Но Груня отхлебывала глоток, а остальное все-таки уносила в дом. Как-то поутру она прибежала к нам с плачем и сообщила о тех непрошенных гостях с их железными прутьями. Я выскочил вслед за ней в тот момент, когда вместе с оконным стеклом вылетел из Денисовой избы и тоже разбился горшок с кашей. Незнакомый человек выволок на улицу хозяина и, тыча его головой в разбрызганную по траве кашу, орал:

— Говоришь, нет хлеба! А это что — не хлеб? Показывай, где зарыл пшено, кулацкая твоя морда?!

Незнакомый, городского вида человек, держал Дениса, как козла, за бороду и матерился, не обращая внимания ни на Груню, ни на Аннушку, которая что-то пыталась объяснить мучителю ее мужа. Груня спряталась за моей спиной и потихоньку всхлипывала. Подхватив ее за руку, я убежал вместе с ней в наш дом. Побежал было к нашей избе и «уполномоченный» (я про себя назвал его так, потому что из района наезжали в село, как мне казалось, одни уполномоченные) — побежал было, но его задержал перед самой калиткой Жулик, бросившийся на чужого человека с яростным лаем. Уполномоченный выхватил из кобуры, висевшей у него с левой стороны, наган и выстрелил три раза кряду, но в собаку не попал. Долго матерился у ворот, а выматерившись, ушел прочь. Из нашего окна мы видели, как он вернулся к телеге, на которой сидели еще двое, подхлестнул лошадь. Жулик бежал за телегой до тех пор, пока она не оказалась на расстоянии, где он мог бы оставить ее: свой собачий долг он исполнил до конца, отогнал врагов от нашего дома. В Жулика выстрелили еще раз, но опять промахнулись, — похоже, стреляющий был пьян. Подбежав к окну и отыскивая в нем наши лица, Жулик ждал одобрения своих несомненно правильных действий.

А на следующий день соседи наши покидали родное село. Впряженный в тележку, на которую были уложены узлы с каким-то добром, Денис уводил остаток своей семьи, а куда — мы не знали. Да и знал ли он сам, решившись на отчаянный шаг?

До Чаадаевской горы я провожал Груню. Взявшись за руки и немного приотстав, мы шли и молчали. Да и что мы могли сказать друг другу?! Поднявшись на вершину горы, где Денис остановился, чтобы перевести дух и куда подошли и мы с его старшей дочерью, я вспомнил про Рыжонку: именно тут я когда-то потерял ее. Рыжонка, — это она все-таки спасла и меня, и мою юную подругу от голодной смерти. Провожая Груню, я уже знал, что скоро навсегда распрощаюсь и с самой Рыжонкой.

От того ли, что вместе с молоком я вытянул из нее все жилы, от того ли, что была уж очень стара, — не знаю уж от чего именно, но корова вдруг занемогла, перестала есть траву, не прикасалась даже к запаренной крапиве, которую очень любила, отказалась и от свеклы, которую я приберег для нее. Было ясно, что дни Рыжонкины сочтены. И она могла бы, как это делается с людьми, тихо и спокойно помереть. Но, оказывается, корова не имела на это права.

— Вот што, робята, — сказал нам, трем братьям, наш доброхот Федот Михайлович Ефремов, — давайте-ка прирежем вашу Рыжонку, пока не поздно. Не ныне завтра она откинет копыта. А так у вас будет мясо, говядинка. Глядишь, и продержитесь с больной-то матерью месячишко.

Сам он и зарезал Рыжонку в ее же хлеву. Вместе с Санькой и Ленькой подтянул тушу к перерубу, чтобы удобнее было свежевать, снимать с нее шкуру. До сих пор видится мне эта вывернутая наизнанку шкура,

брошенная в угол, и синее, без единой жиринки мясо. В другом углу лежала Рыжонкина голова, с большими ее глазами, так и оставшимися открытыми. Мне казалось, что они смотрели только на меня одного, будто я один только и виноват в том, что ее убили, не дали помереть спокойно. Добрые рога, круто вогнутые вовнутрь будто специально для того, чтобы их никто и никогда не пугался, сейчас утыкались в стену.

Я подошел к голове, попытался поднять ее, но не смог, — так она была тяжела. Зачем-то пересчитал родовые кольца на рогах и только потом разогнулся.

Федот Михайлович, вытирая о рогожу испачканные кровью руки, уронил с трудным вздохом:

— Ну, вот и все, ребята.

— Все, — повторили мы вслед за ним.

И это было действительно все...

ЭПИЛОГ

А Коллектив под Чаадаевской горой? Исключительно бурная и несомненно счастливая жизнь его, увы, оказалась чрезвычайно короткой: поселенцев раскулачили не порознь, а как бы чоком, всех сразу, так оно проще и менее канительно, «ликвидировали как класс» почему-то за год до того, как началась «сплошная коллективизация на основе... Память об исчезнувшем вдруг поистине райском уголке, созданном десятком умных и трудолюбивых мужиков, долго хранили, да и теперь еще хранят одичавшие яблони, вишни, терновник и единственный, потрескавшийся от древности колодезный журавель, — самого колодца, как и всех его соседей, давно уже не существует: затянуло илом, давшим обильную пищу для крапивы, которая по высоте и густоте соперничает тут с лесом.

Душноватый чердак нового поповского дома с запахом анисового яблока, притаившись, живет во мне и по сию пору, храня в себе щемяще-сладкую и грустную память о далеком и невозвратном прошлом. Нету теперь ни благообразного отца Василия, нету его худенькой матушки, народившей кучу детей. Нету и порядка других домов, начало которым положил наш дом, — ничего там нету, кроме печального запустения с его неперменной спутницей — лебедой. Давно не благовестят многоголосые колокола в трех церквях. Нету и самих церквей. Ничегошеньки этого нету. Из шести сотен с лишним дворов осталось чуть более сотни, а ведь ни одна война сюда не докатывалась. Живет нетронутой одна лишь память и не дает спать по ночам. Она-то знает, что именно насильственное создание колхозов похоронным звоном умирающих церквей прозвучало над нашей сельщиной. Но вот что странно и удивительно: им же, этим колхозам и совхозам, в наши перестроечные дни, когда всё вокруг перевернулось, сметается и рушится, мы обязаны тем, что еще «живем и хлеб жуем».

Между тем отовсюду, со всех высоких трибун, слышатся пламенные призывы о немедленном введении частной собственности на землю, об арендах, о семейных подрядах, о немедленном же устранении

колхозов и совхозов как таковых, а это уже смахивает на ту же «сплошную», вывернутую наизнанку.

Свидетель кошмарных 30-х годов, я бы всей душой поддержал всех, кто ищет для страдальцы-земли отнятого у нее Хозяина. Поддержал бы, если б... если б не знал, что крестьянских семей в прежнем их виде, таких, какими они складывались на Руси веками, нет и в помине. Кому ж вы, народные витии, собираетесь отдать или продать землю? Немошным старикам и старухам, доживающим свой век в умирающих селах и деревнях? Или, может быть, временщикам, которые кочуют из края в край, как перекасти-поле, нигде не задерживаясь, нигде не пуская своих корней? Или сплавить за бесценнок родимую землю героям теневой экономики, чтобы на великих российских просторах появились латифундии и латифундисты наподобие южноамериканских, чтобы русский мужик из одного рабства угодил в другое, где уже не барин и не колхоз будут помахивать над его согбенной спиной кнутиком, а новоиспеченный плантатор, — этого вы хотите?!

За шестьдесят лет на Руси произошло самое страшное, что могло только произойти, — генетическое отчуждение от земли уже нескольких поколений людей, коим по их происхождению надлежало быть сельскими жителями. Может, наступит время, когда, подчиняясь извечному зову землепашца, они вновь потянутся к земле. Но когда это будет и будет ли вообще? Теперь же их не заманишь в деревню и моим знаменитым саратовским калачом. В этих условиях, дорогие мои народные избранники, прихлопнуть одним махом ваших депутатских рук колхозы и совхозы одновременно и немедленно — значило бы обречь народ на голод, вероятно, еще более ужасный, чем тот, который пронесся над страной черным смерчем в начале 30-х.

Процесс, начатый в 85-м, неостановим. Он начался потому, что не мог не начаться. Вероятно, мало кто думал о том, что он может обрести столь разрушительно-драматический характер. Но неужто не в наших силах изменить его ход, дать ему разумно-созидательное направление?!

Что касается милой моему сердцу деревни, то тут иного пути нет: вернуть земле хозяина, а хозяину — землю. Вот формула, от которой, как от печки, должно танцевать, тем более что она ни у кого не вызывает ни сомнения, ни сопротивления. Ею рождена и определена здравая мысль о единственно разумной и логичной многоукладности нашего землеустройства. Идут хорошо дела в колхозе или совхозе, — на здоровье! Было бы глупо рушить их: от добра добра не ищут. Явится мощный хозяин-единоличник, как мы его в известные времена не называли, а «прозывали», хозяин своего надела, уравненный государством во всех правах и обязанностях с коллективными хозяйствами, докажет свою безусловную жизнеустойчивость, — дать ему дорогу, не мешать, а помогать, да еще охранить от нападков ленивых завистников-соседей, которым такой хозяин — как бельмо в глазу.

Хозяин!

Он должен прийти. И он придет. Но для этого

требуется время. И немалое. И ему придется иметь дело не с дюжиной десятин, а с миллионами гектаров. По силам ли они рождающимся в муках крестьянским дворам, когда их, дворов этих, раз-два и обчелся?..

А мы торопимся. Всегда у нас так: то стоим на месте, когда надо двигаться, то срываемся с места и несемся сломя голову, толком не зная куда. Прежде бы подумать, по-крестьянски же приглядеться, примериться, а потом уж...

Приехав в родное село, я обращаюсь сразу к двум председателям, сельсоветскому и колхозному, с одним и тем же вопросом:

— Ну, что, ребята, много ли у вас желающих вот уже сейчас взять землю навсегда, насовсем? С наследованием и прочим?..

Молодые руководители переглядываются.

— Нету у нас таких.

— Отчего же?

Помолчав, один из них отвечает:

— Боятся люди земли. Не хотят остаться с нею один на один.

Теперь надолго умолкаю и я. Слышу лишь, как перекатываются желваки по скулам да пересыхает в гортани. А в сердце больно стучится горчайшая мысль:

«Что же с тобою сделали, земля-кормилица, если тебя боится твой извечный друг — сеятель и хранитель? Чем ты провинилась перед ним?!»

Октябрь, 1990 г.
Переделкино

ПО СЫНОВЬЕМУ ДОЛГУ

Российская деревня, то есть, значит, российское крестьянство оказались наиболее инертными, наиболее не поддающимися тому революционно-утопическому эксперименту, который начался на нашей земле в 1917 году. Сложность для экспериментаторов заключалась еще и в том, что уничтожить крестьян физически (как, скажем, духовенство, земство, офицеров) было нельзя. Должен же кто-то пахать землю и выращивать хлеб. Эксперимент экспериментом, а есть надо.

Деревню надо было перестроить (теперь мы уже знаем, что перестройка деревни обернулась ее физическим исчезновением, «раскрестьяниванием» России), а для того, чтобы обосновать перестройку, надо было скомпрометировать уклад деревенской жизни, доказать, что ничего хорошего там никогда не было. Ввели даже вроде научного термина: «идиотизм деревенской жизни». После этого всякое сочувствие, а тем более с любовью произнесенное слово о деревне (доколхозной), о мужике, о пахаре и сеятеле объявлялось воспеванием патриархальщины, объявлялось, что это слово реакционно и тянет назад. Сказать доброе слово о деревне (доколхозной) было нельзя.

А вот и яркий пример. В 1969 году почтенный писатель Виталий Александрович Закруткин пишет в предисловии к повести Михаила Алексеева «Карюха»: «Как хорошо, как до боли знаком мне этот навсегда ушедший в прошлое мир: тяжелая работа земледельца на тощих полосках голодной земли, неурожай, бедность, смерть кормилицы лошади, сумрачные лица мужиков и слезы изможденных, рано стареющих женщин...»

Я даже подивился, как можно было в одном абзаце нагородить столько несообразностей, при том, что с уважением отношусь к Виталию Александровичу и нас связывали если не дружеские, то самые добрые отношения.

Во-первых, повесть Михаила Алексеева «Карюха» не давала никакого повода для подобных ответвлений мысли (то бишь реминисценций). Все творчество Алексеева, а тем более повесть «Карюха», отличается именно любовью к земле и крестьянству. Земля вовсе не голодала, ее, которую пичкают сейчас химией, обильно кормили натуральным навозом. И работа земледельца была не тяжелой, а просто тяжелой, а это большая разница. Конечно, лошади дохли время от времени, как умирает все живое, но шумели ведь конские базары. И уж будто одни только «сумрачные лица мужиков и слезы изможденных женщин». А как же веселые сенокосы, яркие хороводы, пестрые ярмарки, дружная молотба, песенные свадьбы, престольные праздники?

Но бросим общий беглый взгляд на историю российской деревни в последние десятилетия и на ее отображение в нашей литературе.

Термин «деревенская проза», «писатели-деревенщики» появился сравнительно недавно, хотя русская литература всегда обращалась к деревне, к «мужику»,

к его жизни. Я думаю, что Иван Сергеевич Тургенев с «Записками охотника» получил бы клеймо писателя-деревенщика, если бы эти записки появились в наши дни и попали в руки наших критиков. Толстой тоже ведь много писал о крестьянах, о мужиках. Не будем уж говорить о поэте Некрасове.

Однако то, что понимается сейчас под «деревенской прозой» и под «писателями-деревенщиками», явление, конечно, современное. Оно вызвано состоянием современной российской деревни, ее отмиранием, ее, фактически, гибелью. Изменилась деревня, изменились процессы, происходящие в ней (или с ней), изменилась и литература о деревне.

В послереволюционное время первым (и последним) певцом собственно русской деревни был Сергей Есенин. Он предчувствовал катаклизм, надвигающийся на нее, понимал, вероятно, чем грозит деревне этот катаклизм, успел его проклясть, а милую его сердцу русскую деревню успел оплакать.

«Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу»,—

обращался Есенин к тому, что надвигалось и нависало.

Сергей Есенин — это прощание русской поэзии с русской деревней. После него всё уже пошло советское — и поэзия, и деревня.

Есенин погиб в 1925 году, а то, что он предчувствовал, обрушилось на деревню четыре года спустя, в 1929 году, и называлось это коллективизацией, совмещенной с ликвидацией наиболее инициативной и зажиточной части крестьянства, а именно шести миллионов крестьянских семейств. Чтобы сломить хотя бы и пассивное сопротивление остальных крестьян, в наиболее хлебных и «крепких» местах, на Кубани, на Украине, в Поволжье, был инспирирован голод, люди ели людей, погибло в это время от голода (цифры расходятся) от 7 до 11 миллионов человек.

Между тем государству понадобилось, чтобы такое огромное, переломное событие, как коллективизация, было отражено в литературе. Возник своего рода «социальный заказ», на который откликнулись многие, особенно поэты, но со временем как-то от их стихов ничего не осталось. Однако некоторые произведения надо назвать, тем более что по крайней мере два из них являются крупными. Я имею в виду поэму Твардовского «Страна Муравия» и «Поднятую целину» Шолохова. Можно вспомнить и еще две поэмы: «Трипольскую трагедию» Бориса Корнилова и «Павлика Морозова» Степана Щипачева. Первая о том, как погибли комсомольцы в борьбе с «кулаками», а во второй, беспрецедентно в мировой поэзии, воспеты не доблесть или благородство, но предательство мальчишкой-пионером своего родного отца.

Впрочем, так или иначе, в той или иной мере, все литературные произведения того времени оправдывали акцию раскулачивания и коллективизации, а вернее сказать, оправдывали ее в полной мере и безоговорочно.

Затем начался период литературы о созданных таким образом колхозах, о «счастливой» и «зажиточной» колхозной жизни. Впоследствии, в середине пятидесятых годов, эту литературу, воспевающую и прославляющую колхозную жизнь, назовут «лакировочной», то есть лакирующей, приукрашивающей действительность. Я думаю, что, если бы она просто «приукрашивала», не понадобилось бы для нее специального термина, но дело в том, что она создавала картины, противоположные существовавшей действительности.

Здесь можно было бы назвать многие имена писателей и названия их произведений — поэм, романов и повестей,— но пощадим наших коллег, тем более что имена их широко известны.

Неизвестно, как далеко ушла бы по этому пути наша литература и скольких писателей она втянула бы в список лакировщиков, но в 1953 году произошло известное всему миру событие, а затем XX съезд КПСС с разоблачением так называемого культа личности, и все вдруг увидели, что в нашей деревне не просто неблагополучно, но что она находится в состоянии бедствия.

Надо сказать, что, как только сделалось возможным, литература тотчас же разглядела эту бедственность и откликнулась на нее. Впрочем, к теме коллективизации, то есть к самому процессу образования колхозов литература тех лет уже не обращалась (за исключением разве великолепной повести С. Залыгина «На Иртыше»), нет, литература 50—60-х годов брала колхозы уже как данность,

как совершившийся факт. Само существование колхозов не подвергалось сомнению. Но вот — неблагополучно в колхозах, и надо искать причины этого неблагополучия, и положение нужно исправлять. Плохой председатель колхоза — плохи и дела в колхозе. Плох секретарь райкома — и дела в районе, соответственно, идут плохо. И очерк В. Тендрякова «Падение Ивана Чупрова» (одна из первых ласточек критической литературы о деревне в 50-е годы) и «Районные будни» Валентина Овечкина, и очерки Гавриила Троепольского, — как бы смелы они для своего времени ни были, все же не дерзали (или не умели еще) обнажить истинных причин бедственного состояния российской деревни. Даже наиболее радикальное и обобщающее и бьющее в цель произведение тех лет — рассказ Александра Яшина «Рычаги» (который можно считать своеобразным маленьким чудом) — все же стремился лишь к исправлению недостатков, а не к искоренению причин. Вот были бы эти собравшиеся в клубе на партсобрание мужики-рычаги посмелее, подтверже духом, глядишь, и отстояли бы правду. Конечно, как художник и реалист Александр Яшин копнул значительно глубже, нежели сам собирался и хотел (в литературе это случается), он, как говорится, попал этим рассказом «в десятку», и в этом непреходящее значение этого маленького по объему шедевра.

Характерно, что, скажем, очерк В. Тендрякова «Падение Ивана Чупрова», в котором было нарисовано бедственное положение колхоза, получил решительную поддержку чуть ли не правительства (Хрущева), а рассказ Яшина получил столь же решительное осуждение, ибо у Тендрякова взят частный случай (плохой председатель), и это понравилось, — надо же было на кого-то или на что-то сваливать бедственное состояние деревни, а у Яшина затронута более коренная сущность происходящего — система.

Эта мысль подтверждается резко отрицательной реакцией и на очерк Федора Абрамова «Вокруг да около», осуждением его. Этот очерк грянул тогда, как гром среди ясного неба. В то время как Тендряков и Овечкин критиковали лишь частности, в то время как само сельское хозяйство пытались поправить тоже частностями (укрупнять колхозы, разукрупнять колхозы, сеять кукурузу, не сеять кукурузу, отбирать коров у колхозников, возвращать коров колхозникам, отрезать у них усадьбы, вернуть им усадьбы, создавать обкомы по сельскому хозяйству, ликвидировать обкомы по сельскому хозяйству и т. д.), Федор Абрамов встал и брякнул: «Вокруг да около ходите. Надо исправлять систему, а не отдельные частности». Я сознательно употребил слово «исправлять», а не «менять», потому что до второго слова Федор Абрамов так и не дошел, умерев весной 1983 года.

Система хозяйствования на земле ни исправлена, ни тем более заменена не была, и положение в деревне продолжало усугубляться. Российская деревня начала катастрофически разрушаться, практически исчезать с лица земли. Тысячи и десятки тысяч деревень исчезли начисто, места, где они стояли, запахиваются тракторами, и уже ничто не напоминает о том, что здесь на протяжении веков жили люди. Только разве крапива да бурьян да иван-чай напоминают кое-где о местонахождении деревень. А ведь русская деревня была категория не только социальная, не только экономическая, но и духовная. Именно в деревне вырабатывался на протяжении веков ярчайший, образный русский язык, рождались песни, пословицы, поговорки, загадки, формировалось отношение к земле, к труду, формировался сам русский характер.

Этот процесс исчезновения русской деревни породил целую плеяду замечательных русских писателей. К ним можно отнести Александра Яшина, Федора Абрамова, Бориса Можая, Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Бориса Екимова, Владимира Крупина...

Обратим внимание хотя бы на названия произведений этих писателей: «Последний поклон», «Прощание с Матёрой», «Последняя хата», «Сороковой день», «Кануны»...

Эти люди, родившиеся в русской деревне, выросшие в ней и хоть немного помнящие, какой она была, прощаются, в сущности говоря, с родной матерью, оставаясь одинокими и незащищенными, бескорневыми на холодном и беспощадном ветру истории.

К этому ряду «писателей-деревенщиков» примыкает и своеобразнейший писатель, тоже по-своему отдающий последний поклон родной матери, — Михаил Алексеев. Он родился, провел детство и юность в большом приволжском сара-

товском селе Монастырском. В селе было шестьсот с лишним дворов и три церкви, что само по себе уже говорит как о богатстве села, так и о его многолюдстве. Позже Алексеев напишет, что их сельское стадо, возвращаясь с пастбища, должно было проходить мост через речку Баланду, так вот, проходило стадо через этот мост более двух часов. Сотни коров и тысячи овец паслись на тучных лугах Монастырского, а тучными луга были потому, что весной их заливало широкими водами (даже огороды вплотную к домам) и оставляли эти внешние воды на земле плодородный ил. Там все у них какое-то увеличенное. Листья мать-мачехи, словно горькие лопухи, трава в рост человека, шампиньоны с детскую голову. Так что напрасно рисовать себе работу земледельца на «тощих полосках голодной земли».

На берегу речки Баланды, а точнее Вишневого омута, дед будущего писателя, полный его тезка Михаил Николаевич, развел прекрасный сад, который навсегда сохранился в памяти Михаила Алексеева. Увы, к сожалению, только в памяти, как и три сельские церкви, как и само село, из шестисот дворов которого теперь насчитаешь едва ли сто.

Сначала по селу прокатился прорезывающий и придавливающий механизм коллективизации, а затем голод 33-го года. Михаил Николаевич рассказывает: «Идешь, бывало, по селу — запах. Значит, в траве, в крапиве труп лежит. Одна женщина из Монастырского жила в Ленинграде, стала посылать матери сухари. На третьей посылке к ней подошли. «Куда посылаете сухари? Зачем? Вы что, хотите сказать, что у нас в стране голод?» Дали ей срок». Голод был инспирирован, в этом теперь нет никаких сомнений. В Монастырском вымерло две трети села.

И вот, если уцелел после всего этого человек да к тому же если он стал писателем, так может ли он рассказывать людям о чем-либо другом, кроме как о своей прекрасной, но разоренной земле, о своем детстве на ней, о том укладе жизни, который существовал, о вишневом дедушкином саде, о Вишневом (мельничном) омуте, о всех жителях села, которые уцелели в цепкой детской памяти.

М. Алексеев и рассказывал нам о своих сельчанах в романах «Вишневый омут», «Хлеб — имя существительное», «Ивушка неплакучая», «Драчуны». Что бы ни говорили об этих ярких романах изощренные московские критики, никто не осмелится отрицать, что освещены они любовью писателя, неугасимой сыновней любовью к каждому изображенному в книгах мужику, к каждой крестьянке, к каждой избе, к каждому деревцу, к каждой, можно сказать, травинке.

Две небольшие (по объему) повести Михаила Алексеева «Карюха» и «Рыжонка» продолжают и развивают, обогащают общую картину, создаваемую писателем. Карюха и Рыжонка, лошадь и корова, два домашних животных, два существа, на которых держалось все: и хозяйство крестьянского двора, и его быт, благополучие, достаток. Корова и лошадь (при наличии, разумеется, земли) — это была основа крестьянства, ну а крестьянство было основой самой России. Как задумаешься над тем, что теперь, когда нет ни лошадей, ни коров, ни земли в крестьянских руках, ни, фактически, самого крестьянства, на какой же нравственной, укладной, да и экономической основе будут держаться народ и государство?

Михаил Алексеев не решает в открытую этой проблемы, но он наталкивает читателя на эту мысль, ярко нарисовав нам портрет российской деревни, какой она была и едва ли уж будет когда-нибудь в ближайшем ли, в отдаленном ли будущем.

Читая романы и повести Михаила Алексеева, вспоминаешь (перефразируя в уме) слова искусствоведа о живописи Михаила Васильевича Нестерова. Он пишет, что дорог в искусстве портрет живого человека, но еще дороже портрет умирающего или уже умершего... До коллективизации (а тем более до революции 1917 года) российская деревня и крестьянство существовали в действительности, а теперь они существуют лишь в воспоминаниях, в устной или письменной передаче. Их больше нет в действительности, и значение такого писателя, как Алексеев, исключительного и вместе с тем последнего, быть может, выразителя духа обреченного русского крестьянства, предстает перед нами преисполненное почти болезненного интереса.

Вл. СОЛОУХИН

Василь Быков

■

ОБЛАВА

ПОВЕСТЬ

Глава первая

ЧЕЛОВЕК НА ОКОЛИЦЕ

Приречная луговая пойма с разбросанными по ней широкими кустами лозняка дружно зеленела поздней осенней отавой. После недавних дождей окрестные болота разлились, до краев наполнив обычную неглубокую летом речушку, и подтопили пойму, которая по-болотному вспучилась мягким молодым мхом. Мох податливо оседал под ногами, выдавливая на поверхность мутную жижу, но не проваливался, трясины здесь не было. Это сейчас, осенью, пойма обильно сочилась влагой, летом же, в сенокосную пору, здесь было сухо, вольно ходили косари, ездили возы с сеном. Следы от колес и лошадиных копыт в свежей траве еще и теперь слабо поблескивали черной водой. Вода была всюду. Словно щелок, она разъедала кожу постолов, насквозь промочила портянки. Надо бы присесть, переобуться, но человек, казалось, не обращая внимания на мокрядь и бездорожье, упрямо пробирался по заболоченной пойме.

Осенний день был на исходе, вокруг стояла ветреная тишь, никого живого поблизости не было. Люди работали в поле, убирали картошку, наверно, до далекой поймы никому не было дела. Человек вроде знал это и все же был неспокоен, почти встревожен. Торопливая походка его казалась неестественно напряженной; давняя застарелая тревога сквозила в цепком, настороженном взгляде, привычно таилась в угрюмом выражении немолодого, заросшего серой щетиной лица. Рот полураскрыт — от усталости или постоянного напряжения, из-под вислых усов выглядывали два нижних зуба, верхних совсем видно не было. Человек часто и хрипло дышал — наверное, нелегко далась ему эта ходьба по болоту. Одет он был в порывевший от старости, самотканый армячок с заплатой у воротника; на тощем животе кособоко держался узкий, с болтающимся концом ремешок. Глубоко натянутая на голову черная кепка давно потеряла форму — наверно, служила не первый год. Как и портки. В больших и малых заплатках, они казались совсем ветхими, чего нельзя было сказать о постолох. Хотя и раскисшие от воды, но скроенные из прочной сыромятной кожи, стянутые на щиколотках новыми веревочными оборотами, они ловко обхватывали снизу и мокрые штанины портков. Никакой ноши, сумки или узла у человека не было, свободные руки настороженно согнуты в локтях, будто на изготовку. Нетрудно было догадаться, что человек давно шел один, свыкся со своим одиночеством и старательно избегал людей. Люди для него представляли наибольшую опасность в поле, в деревнях, на дорогах, и он выбирал путь окольный — перелесками, полем, а еще лучше лесом. За время своего одиночества он почти отвык от звуков человеческого голоса, сам все время молчал, до боли в голове думал, то и дело торопливо озирая окрестности. Слух его стал таким чутким, что он легко различал шорох птицы в ветвях, за версту ловил стук колес на дороге, негромкие детские голоса в отдалении указывали ему место, где пасется деревенское стадо. Стада он не боялся. Раза три добывал у подпасков пищу — хлеб или картошку, однажды разжился кусочком сала у девочек, пасших коров возле леса. Выйдя из кустарника, сперва поинтересовался, какая деревня рядом и как зовут девочек, а потом попросил хлеба. Девочки — заметно было — испугались, но та, что постарше, вынула из кармана большой, болтавшейся на ней свитки кусок хлеба с салом и молча протянула ему. Он взял кусок, отошел и, хотя оголодал, как мартовский волк, не сразу принялся есть —

так тронул его испуганный взгляд девочки, неожиданно напомнивший ему Олю. Он забрался в хвойную чащу и заплакал — может, впервые с того дня, как похоронил дочку. Не суждено было ей увидеть родную землю, прибрал Бог на чужой стороне.

А отец — увидал.

Сенокосные уголья с лозняком и речушкой сворачивали в сторону, впереди, над пойменным мелколесьем, зазеленела хвойная рощица на пригорке, и Хведор замедлил шаг, пораженный неожиданно открывшимся видом. На пригорке высилась видная издалика купа старых высоких сосен, внизу под ней пролегал большак, которым он много раз ездил на станцию, в местечко — за покупками, на базар, когда вывозил продналог или хлопотал по начальству. Все те хлопоты оказались пустыми, налоги пришлось выплатить полностью, пока не обложили твердым. На твердом его возможности кончились...

Пригорок, кажется, не изменился за последние годы, свежая зелень сосен нарядно выделялась из серого осеннего мелколесья. Сосны будто слали ему привет из того печального дня, когда он прощался с ними по дороге на станцию. Очень хотелось Хведору свернуть к знакомому пригорку, может, взобраться на его крутизну, вдохнуть смолистый аромат хвои, потрогать руками шершавые комли сосен. Но он не пошел. Близко было и желанно, но... Впереди ждали его и другие знакомые места, а там, за пригорком, на большаке, могли встретиться люди. Свои, знакомые, деревенские. Встречи со своими он теперь опасался больше всего.

Да, вот так обернулась жизнь — распроклятая его судьба вырвала его из родных мест, бросила в другие, никогда прежде не слыханные места. Дважды за последний год пускался оттуда в бега — по-дурному, без малейшего шанса на удачу. Но вот — повезло, и как раз в тот момент, когда надежда, казалось, навсегда покинула его и он готов был примириться с неволей. Неужели и в самом деле он скоро увидит свой родной угол, бывшее свое поле, деревенские крыши Недолища с его малоурожайными землями, болотистым выгоном, непролазным ольшаником возле речки? Здесь он родился, тут прошли его молодые годы и будущее вспыхнуло сладкой и такой обманчивой надеждой...

Надо было обойти пригорок, узкой, заросшей кустарником ложбинкой проскочить на ту сторону большака; на этой стороне, вдоль речки, начиналось залитое водой болото, по которому сейчас не пройдешь. Здесь он хорошо знал местность, не надо было спрашивать дорогу. Он и прежде редко у кого о ней спрашивал, разве что у ребят-подпасков в поле, однажды остановил тетку, она несла хворост в село. И никогда — у мужчин или молодых парней, которые, знал он, могли его задержать и сдать в милицию. На молодых надежды у него не было. Молодые теперь сплошь комсомольцы, воспитанные в ненависти и подозрении к любому чужому и незнакомому. А к такому знакомому, как он, — тем более.

Большак он перебежал удачно, никем не замеченный, и, скрываясь в кустах ольшаника, вышел к сосновой опушке. Это был край большого Казенного леса, в котором сельскому люду когда-то выделяли деревья

для постройки жилья. Он и сам пилил здесь сосны на хату, когда после революции строился на своем наделе, полученном от сельсовета, — двенадцать десятин земли.

Распределяли по две десятины на душу, а у него к тому времени было уже шестеро душ: он с женой Ганной, двое стариков, сын Миколка да родившаяся в тот год малая Олечка. И он, батрак, потомственный мало-земелец, в одно весеннее утро стал владельцем пахотного участка, счастливо доставшегося ему на панском поле у леса. Душа пела от счастья, белый свет казался солнечным раем. Построил хату, гумно, хлева, обзавелся скотиной. Порой было до чертиков трудно, думал, протянет ноги от работы. Но был молодой, сильный и выжил, а потом и вовсе зажил неплохо.

Где-то в той стороне леса среди зарослей подлеска пряталась старая стежка, но он не стал ее искать, пошел напрямик. Усталый, голодный, с мокрыми ногами, он не мог одолеть в себе лихорадочного нетерпения и, не очень разбирая дороги, упрямо стремился вперед. Временами почти забывая об осторожности, шумно продирался сквозь подрост и кустарник, бежал, сминая постолами трескучий хвойный валежник. Миновал неширокую рощицу березняка среди сосен и выбрался на почти чистую, усыпанную старыми пнями делянку. Кажется, это была та самая делянка, на которой он с шурином Томашем пилил зимой бревна для хаты. Подросток Миколка жег рядом костерок и помогал обсекать сучья. Но теперь его мало интересовала делянка, близость желанной цели захватила его целиком.

Последние сотни метров он бежал по какой-то полужаросшей лесной тропе — идти спокойно уже не доставало сил, все в нем напряглось от нетерпения. Вот-вот должна была показаться опушка, с которой он увидит поле и свою осиротевшую усадьбу. Он понимал, что усадьба теперь вряд ли пустует, кто-то занял ее, может, даже кто из деревенских, знакомых ему. Но главное — скорее бы увидеть ее крышу из дранки с красным кирпичным дымоходом, соломенные стрехи сараев, палисадник под окнами, когда-то полный ярких осенних георгинов, яблони в саду над прудом. Прививал еще совсем малые, тонкие деревца — теперь, наверно, стоят уже с яблоками...

Он выбрался на опушку возле старой груши-дуплянки, которую помнил с детства, смятая трава под нею пестрела россыпью опавших плодов. Видно, никто их не собирал здесь, и они гнили на земле, во множестве белея на дереве среди поредевшей листвы. Отсюда, с опушки, уже хорошо стало видно широкое пространство вспаханного под зябь поля. Хведор медленно пошел вдоль края леса, все вглядываясь в пространство поля, где чуть дальше лежал и его осиротевший надел. Скоро в отдалении появились и крайние хаты Недолища, крыши сараев, сады и опускавшиеся к выгону шнуры огородов. На крайнем из них, согнувшись, ковырялась в земле женщина в красном платке — наверно, кто-то из Антосевых баб копал картошку. Но где же его усадьба? Где хата, гумно, дворовые постройки? На равнинной, слегка покато́й от леса пашне со слабенькой зеленью озими шевелилось на ветру несколько плодовых деревьев, и ни одного строения не было

рядом. Повсюду простиралось голое поле — от леса до самого пруда внизу.

Загребая постолами в пересохшем бурьяне, Хведор брел по опушке. Силы его быстро убывали, шаг делался тяжелее, он остановился, постоял и обессиленно опустился наземь.

Ну вот и добрел. Дошел, добежал, дотянулся за три месяца невероятного пути, мук и терпенья... Да и на что было надеяться? Чего он хотел? На что рассчитывал? Прежде всего — увидеть. Ну вот и увидел... Разве здесь его ждали? Разве обязан был кто-то беречь его брошенную усадьбу? Перевезли в другое место, наверно, и давно уже служит добрым людям — детям да старикам. И уж наверняка посчастливей они, чем он. А земля? Земля все так же и даже весело зеленеет озимью. Кажется, вроде и неплохая озимь. Только на том конце, у пруда, потемнела от влаги. Но там и у него всегда вымокала. Он старался сажать там картошку и лишь два раза посеял коноплю. Зерновые же у пруда не родили. Новые хозяева, наверно не зная об этом, посеяли рожь...

Он долго сидел, подавленный и вконец обессиленный, уныло вглядываясь в поле и деревню, которых не видел целую вечность. Они снились ему каждую ночь, оставаясь в недостижимой дали. И вот они рядом — рукой подать. Вокруг неспешно сгущались ранние сумерки, из леса плыл густой хвойный шум, вверху куда-то летели растерзанные ветром дождевые облака. В поле и поблизости от деревни никого нигде не было; присутствие людей неясно ощущалось в деревне — на огородах, во дворах, за плетнями и заборами. Из-за крайних хат на дороге появилась телега с парнишкой — он стоя, нахлестывая кнутом, погонял гнедую лошаденку, с замирающим вдали стуком телега скрылась в ложине. Хведор уже и не надеялся узнать парнишку, хотя когда-то знал здесь каждого старого и малого. Но за минувшие годы старики, наверно, ушли на тот свет, повзростали дети, узнать мудрено, особенно издали. Но не приведи Бог, если узнают его. Или хотя бы заметят в поле. Спихватившись, что он на виду у деревни, Хведор сполз пониже в бурьян. Возбуждение стало понемногу спадать, он спокойнее уже оглядывал знакомое поле — озимые всходы, редкие одинокие деревца в тех местах, где проходили когда-то межи, кустарник в низинке возле болотца. В дальнем конце деревни возвышался пригорок с небольшой сосновой рощицей, что-то там тускло белело под соснами. Это было старинное деревенское кладбище со всей родней Хведора — дедами и прадедами, весь его род. Как и многие деревенские семьи, отошли, отмучившись на этой земле. Завидная все же доля, подумал Хведор: после смерти остаться со своими в родной земле. А его страдальца Гануля легла в промерзлое болото за тысячу верст отсюда, под студеным Котласом. Кому и когда могла привидеться эта доля? Они и не слышали прежде такого чудного названия, а оно стало для Ганули судьбой. Да и для него тоже...

Хведор все сидел на заросшей кустарником опушке, вглядываясь в вечернюю даль. Начали зябнуть мокрые ноги, да и самому становилось зябко — под вечер заметно похолодало. В деревне же своим чередом шла обыч-

ная сельская жизнь. Люди вернулись с поля, ходили за скотом, занимались обычными делами по дому... На тропинке, ведущей к колодцу, появилась баба с коромыслом, набрала воды, пооглядывалась, постояла и, тяжело ступая, понесла воду к хлевам. В хатах затопили печи, и ветер понес над стрехами рваное клочье дыма. Хведор жадно глядел на окрестные поля, деревню, но больше всего его тянуло на место, где некогда был его хутор. Казалось, возле уцелевших яблонь сохранился какой-то неясный след от построек, не все уничтожено. Видны были темные заросли бурьяна, что-то громоздилось там — на месте фундамента, что ли? Надо бы подойти поближе, посмотреть, ступить на землю, когда-то сулившую ему столько радости и давшую одно горе. Но было еще светло, надо бы подождать. И он терпеливо ждал. Когда деревенские хаты затянуло вечерним сумраком и уже мало что можно было увидеть в поле, он поднялся и, пошатываясь, побрел вниз, к деревцам.

Как он и думал, хуторское подворье не было запахано, нетронутым остался двор, уцелели фундаменты, на прежних местах лежали угловые камни амбара. Амбарные камни были огромные, особенно один, лежавший под нижним углом строения. Его привезли из Гораней, вдвоем с Томашем они едва вкатили его на телегу. Этот камень и теперь гладким боком выглядывал из крапивы. Фундамент под хатой местами выкрошился, оброс бурьяном; крыльца уже не было — наверно, вместе с хатой перевезли на новое место. Там, где когда-то стояла печь, громоздилась поросшая полынью куча кирпичей — это было все, что от нее осталось. Оно и понятно: печной кирпич был никудышный, плохого обжига, в ту осень лучшего не нашлось, на кирпичном заводе не хватало топлива, и Хведору сказали, что для печи сгодится. Он и сгодился, печь простояла лет восемь, пришлось только переложить дымоход, для которого он прикупил в местечке сотню кирпичей давней, царских времен, формовки. Горько ему было сейчас бродить по развалившемуся подворью, душа обливалась кровавыми слезами. Единственно, что порадовало его, был молодой садик, деревца которого уже вошли в самую силу и теперь беззаботно трепетали листвой на ветру. Три антоновки он привил на третьем году своей хуторской жизни, годом позже — две грушки. Черенки добывал в Фаринове у одного учителя на станции. Первый привой, однако, не удался, осенью прививал снова. Он обошел деревца, ощупал их плотные, крепкие стволы, будто поздоровался с каждым. Уже стемнело, и ему захотелось попробовать яблоки — может, что-нибудь осталось на ветках? Повглядываясь в темную листву, потрогал нижние ветки, слегка тряхнул крайнюю антоновку. Нет, нигде ничего не шевельнулось, не упало наземь. Или весь урожай уже сняли?.. Хведор увидел на антоновке обвисший, сломанный сук, другой лежал на траве под ногами, и он понял, что яблок здесь давно уже не было. Да и как им тут быть, в этом саду среди голого поля, брошенном без хозяйского глаза. Яблони, как и цветы, без человеческой ласки расти не будут.

Хведор обошел подворье. На месте когда-то вырытого им колодца зияла черная, обросшая крапивой яма,

от сруба и ворота не осталось и следа. Там, где была дровоколья, валялось в траве несколько палок, но дров уже не было. Постоял на куче битого кирпича в бурьяне, вспоминая, как когда-то грелся здесь на печи, приехав зимой из лесу или осенью с поля, как спали тут старики, а иногда грелась его Гануля. Хотя бедняга Ганулька грелась тут редко — больше хлопотала по хозяйству, старалась накормить немалую тогда семью, таскала тяжелые горшки с кормом скоту. Гануля не имела минуты обогреться дома и никогда уже не обогрется в мерзлой земле, на краю заболоченного кладбища. Болела недолго. Перед тем как слечь, с осени работала на лесоповале, где с бригадой таких, как она, переселенок собирала и сжигала сучье. Правда, нездоровилось ей давно, с Покрова, зимой по ночам сильно кашляла, жаловалась на боли в боку. Но к докторам не шла — докторов она побаивалась, как и начальства, стараясь лишний раз не попадаться им на глаза. Потом ей вроде полегчало от заговора Банадысихи, старой ворчливой женщины, высланной откуда-то из-под Орши. Но полегчало ненадолго. В чистый четверг, притащившись с делянки, Ганулька слегла, чтобы уже не подняться. Ухаживать за ней Хведор не мог, самого ежедневно гоняли на трелевку, готовились к весеннему сплаву, надо было создать немалый задел древесины. Начальник участка не давал дыхания перевести, и бригады работали в лесу от зари до вечерних сумерек. Скрепя сердце он оставил жену на Олечку, которая целыми днями то плакала, то тоненьким детским голоском пела матери ее любимую «Уточку». Наверно, так и ушла с этого света Ганулька под жалобный напев дочки. Когда он вечером притащился в барак, притихшая Олечка сказала: «Мама спит». Он кинулся к нарам, где лежала Ганулька, тормошил, звал, но тщетно — Гануля была уже мертвой. Они заплакали разом: Оля во весь голос, безутешно и горестно, он молча давился слезами.

Назавтра его освободили от работы. Не скрывая раздражения, нарядчик сказал: на полдня. За эти полдня следовало вырыть могилу, сбить какой-нибудь гроб, отвезти на кладбище за поселком. Кладбище было новое — недавно отведенный под захоронения участок лощины, хотя крестов там уже стояло немало. Спецпереселенцы вымирали дружно, особенно те, кто постарше, — не приживались на этой дикой, холодной земле. Впрочем, мерли и молодые — с голоду, от непосильной работы и чахотки, которая валила даже сильных, молодых мужиков. Говорили люди, что мрут от болезней, но больше от тоски по родным местам, от мысли о вечной с ними разлуке. Оно, может, и правда.

Как раз приближалась весна, на пригорках начинал таять снег, хотя в низине за поселком еще лежал толстым, затвердевшим настом. Хведор не меньше часа скреб его лопатой, потом долбил кайлом мерзлую землю. Выкопал неглубокую, до пояса, могилку, копать глубже не было ни сил, ни времени — он очень боялся опоздать, не успеть до полудня. Потом, бросив лопату и кайло, побежал сколачивать гроб. Столярничать он умел, руки сызмала были приучены к нехитрому столярному инструменту, но нужны были доски. Завхоз, к которому он сунулся в конторскую пристройку,

долго и молча копался в бумагах, у порога молчал Хведор, терпеливо дожидаясь ответа. Наконец завхоз встал, неторопливо закурил и очень нехотя подался на задворки, где были сложены доски. Там их, засыпанных снегом, было несколько штабелей — толстых и тонких, двадцаток и сороковок, всякого другого пиловочника. Но этот мрачный человек, кивнув в сторону торчавших из снега горбылей, процедил сквозь зубы: «Тащи вон. Пять штук, не больше». Разгребая ногами снег, Хведор вытащил пять штук сучковатых неошкуренных горбылей и, сжав зубы, отволол их к бараку, где принялся сколачивать гроб. Плакать хотелось от обиды, глядя на этот гроб, в котором суждено было его Ганульке найти свое последнее успокоение, но что он мог сделать... Что он вообще мог в каторжной неволе?

Хоронили вдвоем с Банадысихой, больше с работы никого не отпустили. Кое-как втащили промерзший гроб на водовозные сани, Банадысиха с Олечкой примостились сбоку, измученный и обессиленный, он тащил за узду старую подслеповатую кобылу. Благо везти было недалеко. Банадысиха на санях тихо бормотала молитву, а Хведор с тоской в душе думал, что надо поторопиться и ему. Жить так, как они жили тут, стало невозможно, лучше умереть. И он, пожалуй, умер бы, если бы не Оля. Девочке шел десятый годок, была она не по-детски умненькая (в кого только удалась?), серьезная, никогда не улыбнется, бывало, все глядит и глядит широко раскрытыми глазами, будто ожидает чего. И он думал, может, хоть она дождется чего-нибудь лучшего. Очень хотел, чтобы дождалась. Да не сбылось — видно, не суждена была и Олечке лучшая доля...

Но что делать теперь, он не мог придумать. Он сбился с толку в этот ветреный вечер на пустом подворье и стоял, позабыв вдруг все, чего раньше желал. Главное — потерял цель, которая вела его долгие недели через все препятствия и невзгоды в родные места, к своему дому. Что его ждет здесь, он об этом, пожалуй, не думал, главным было — дойти, доползти, чтобы хоть одним глазом взглянуть на эти места, а там можно и умереть. Умереть тут, найти вечный покой в родной стороне было бы для него счастьем, о котором он мог только мечтать...

Но как быть, пока жив, куда податься? Пойти в деревню он не решался: навлечешь беду на людей, да и сам боялся милиции. Пока никто из деревенских его не заметил, он на свободе, она оставалась единственной его целью. А если заметят, узнают, тогда для него все и кончится и снова настанет то, что хуже гибели. Так пускай лучше смерть. Теперь уже на родной стороне.

Уже совсем стемнело, подул холодный ветер, и Хведор озяб: дрожь то и дело сотрясала его. Укрыться же здесь было негде. Хоть бы оставили какую сараюшку или навесик. Хоть бы конуру, где жил Лобатик, ласковый щенок, которого он незадолго до высылки принес на хутор. Так нет, не оставили ничего, сплошь пустырь и разор. Но и идти отсюда ему было некуда, и он не уходил. Долго неприкаянно слонялся по чертополоху, оглядывая темные заросли репы и крапивы. Взобрался на печище, постоял и сел на кирпичную кучу — стоять уже не было сил, болели ноги. Сидел думал. Про былые годы и былые заботы. Про свои глупые несбывшиеся

мечты. О Гануле. Вспомнил, как, закладывая сруб хаты, в красный угол положили они царский рубль и повязь — ее и его вместе связанные лоскуты одежды. На богатство и чтоб жили в согласии, не ссорились и не разлучались. Оно так и вышло — не разлучились до самой ее смерти. Хорошая была женщина, тихая и работающая. Хведор не помнил случая, чтобы они хоть раз всерьез поссорились. Хотя в жизни хватало всякого, больше трудного и плохого. Но разве их вина? Такая выпала жизнь. Большею частью дразнила счастьем, а вдоволь наделила работой, тревогами и — бедой. Думал: пусть, они выдержат все, но, может, детям будет полегче. Все же заимели землю, больше батраками не будут. И правда, сынок Миколка еще подростком впрягся в работу плечо в плечо с батькой. Был он плотный, широкий в кости, мосластый парень, упрямый характером, но незлобивый. Любо было глядеть, как он гнал борозду новеньким синим плугом или на сенокосе шел в ряду взрослых мужиков. Но понемногу как-то стал отдаляться от хозяйства, сперва в школе, затем — как вступил в комсомол. В деревне начались сходки, митинги, споры. Организовали ячейку и назначили его секретарем. Стало не до хозяйства... Впрочем, отец не перечил, думал: пускай, авось выйдет в люди, заимет свой хлеб, а уж он как-нибудь перебьется и без помощника. Конечно, на хуторе легче не стало. Особенно когда сын перебрался в район и совсем забыл дорогу в Недолище.

Миколка, понятно, парень разумный, грамотный, не ровня батьке. А то, что он отошел от хозяйства, может, и к лучшему. В этом, наверно, его спасение — иначе где бы он оказался теперь? В Котласе или еще дальше? А так поставили начальником, почет и уважение. Никому Хведор не писал из ссылки, а шурина Томашу как-то послал письмо, когда еще жива была Ганулька, и через полгода получил ответ. Томаш не сообщал, как живет, какие порядки в районе, немного написал о здоровье, а в конце приписал самую, может, важную весть: Миколка вернулся из Красной Армии и сейчас большой начальник в районе. Ганулька впервые за последние годы счастливо заулыбалась, на миг просияло печальное лицо Оли, а он нахмурился. И рад был, и точило беспокойство. Шуточки: сын раскулаченного пролез в начальники? А если дознаются?

Хведор ночи напролет думал о сыне-начальнике и его должности, тревожился и переживал. Но Сталин сказал, сын за отца не отвечает. Эти слова он прочел в газете, не раз слышал их от людей. Должно быть, Сталин говорил правду. Если Миколку поставили в районе начальником, значит, должны были знать, где его родители, из какой он семьи. А может, разобрались, что раскулачили неправильно, незаслуженно, потому и сын ни при чем. Тем более что он давно уже не жил с родителями, не хозяйствовал на отцовской земле, работал в райкоме, потом служил в Красной Армии, даже был командиром. За что же ему отвечать?

И все же Хведор ни разу не написал сыну, не мог побороть в себе страха и неуверенности, хотя Ганулька очень просила написать, даже расплакалась однажды. Он боялся — не за себя, конечно, за сына. Ду-

мал, если опасности совсем нет, Миколка напишет сам. Томаш писал, что видел его в райцентре, сын мог бы спросить у Томаша адрес ссыльных родителей. А если не пишет, значит... Значит, что-то не так.

И все же он не хотел думать плохого, он надеялся. И когда задумал этот побег, и прежде того, до побега. И в страшной дороге — на плотках, на железнодорожных платформах среди штабелей леса, в долгих скитаниях по лесам и проселкам. Днем и ночью он думал, сомневался, но так ничего и не надумал. Он не знал, как ему отнестись к сыну, а главное — как сын отнесется к отцу.

Правда, если Миколка большой начальник, то, наверное, что-то же может... Начальнику многое позволено. Бывает, простому человеку нельзя, а начальству не запрещается — это Хведор знал хорошо. Насмотрелся и в царское время, и в армии, и при новой власти тоже.

Над полями и лесом полновластно хозяйничала осенняя ночь; без остатка потонув во мраке, притихла вдали деревня. Поначалу где-то поблескивала пара огоньков, вроде на том конце улицы, да и они погасли. И Хведор поднялся на ноги. Неожиданно для себя он вдруг решил пройти по ночной улице, взглянуть на знакомые хаты, на колхозную контору возле которой когда-то возвышалась над дорогой широкая арка с выцветшим кумачовым лозунгом. Тут всюду жили знакомые люди, старые и помоложе, охочие до рабства не очень, добрые, злые, безразличные, — бывшие его односельчане. Он никого из них не видел с того мартовского утра, как выехал на санях из усадьбы и все оглядывался — до самого оврага, когда уже ничего не стало видать. И ему вслед глядели и плакали деревенские бабы, собравшиеся под суковатой вербой возле Савчиковой хаты.

Прежней дорожки от усадьбы до улицы, кажется, уже не было, заросла травой, и он пошел напрямик, пока не выбрался на дорогу. В привычном месте с грязноватого, разбитого проселка спустился в овражек с ветхим мостком на дне. Как и много лет назад, мосток еле держался и, бывало, сильно грохотал под колесами телег и бричек. Почти сразу за овражком начиналась улица. Старая верба будто усохла даже, но по-прежнему клонилась над дорогой, и за ней чернела во мраке такая же старая Савчикова хата. Живет ли там Савчик, Хведор не знал, за все пять лет его ссылки никто не написал ему из этой деревни, да и он не писал никому, ничего ни о ком не знал. А с Лёксом Савчиком когда-то учились в церковноприходской школе в одном классе, потом вместе призывались в солдаты. Был Лёкса спокойный, рассудительный мужик, горе-мычный бедняк, наверно, как и все тут в деревне, растил пятерых дочек. Где он теперь?

Улица лежала по-ночному черная и пустая, посередине мягкий, истоптанный скотиной песок, у оград заросли репейника. Хведор обошел кучу новых бревен у Авдотьино подворья, уж не строится ли вдова? Хотя почему вдова? Наверно же, подросли сыны, может, и женился который, вот и строится. Тихонько прошел мимо палисадника Зыркаша, о нем теперь не хотел и думать. Искалечил этот Зыркаш ему жизнь (да и не только ему),

завистливый был человек и недобрый. Когда-то настроил в район жалобу по поводу Хведоровой молотилки, с которой все и началось. Если бы не та его жалоба, может, все бы обошлось и не рыскал бы теперь Хведор в ночи, как вор, жил бы вместе со всеми. И не испытал бы тех бед, которые так щедро отмерила ему злосчастная его судьба.

За подворьем Зыркаша остановился, постоял возле изгороди, вслушиваясь, не подаст ли где голос собака. Но собаки пока молчали, или, может, их вовсе не было в деревне. Здесь особо-то они не водились и прежде, разве что на хуторах да в местечке. Деревенские же по своей бедности предпочитали завести лишнего поросенка. Должно быть, и теперь так же. Видно, не разбогатели его земляки. За редким вишенником выросла в землю убогая халупа с голыми ребрами стропил на крыше. Судя по всему, нежилая. Но где же тогда многодетная семья Ивана Погорельца из этой хаты? И еще одну постройку с черными провалами пустых окон разглядел он за тыном — тоже, наверно, покинутое жилье. Соседняя с ней хата уютной завалинкой подалась на самую улицу, здесь некогда любили посидеть мужики, посудачить на досуге о жите-бытье. Теперь эту скособоленную стену подпирали ряд кольев — чтобы не упала. Тут некогда жил самый горластый активист комбеда, худой и длинный, как жердь, Цыпрук Змитер. Уж он-то наверняка выслужил у советской власти получше жилье — был самый бедный. Да, видно, не выслужил, если дожил до такой вот кольями подпертой халупы.

Хведор наступил на свежие коровьи лепехи и подался в сторону, ближе к репьям. Все же он боялся: не наткнуться бы на что, не услышал бы кто, как крадется он улицей. Но в потемках поблизости никого вроде не было, видно, вся деревня уснула. Только за бревенчатыми стенами хлебов сонно вздыхали коровы да на той стороне улицы тихо стукнула дверь — кто-то вышел по нужде ненадолго. Тихо ступая по мягкой земле, Хведор миновал крайние хаты улицы и очутился у кладбища.

Как всегда, тут царили тишь и покой, могучие сосны печально шумели в вышине. За штaketником низкой ограды тускло светилось в темноте несколько новых крестов — больших и низеньких, детских. Он немного постоял у оградки и, найдя проход, с дрогнувшим сердцем ступил в это темное поселение мертвых. От прохода короткая дорожка вела на пригорок под сосны, где хоронили издавна и где он помнил каждую могилу. Первыми в ряду поднимались над всеми дубовые кресты Шуляков — отца и трех сыновей, род их был, может, самый старый в Недолице. Рассказывали, что самый первый Шуляк пришел сюда с литовской земли и осел в имении, женившись на горничной здешней барыни. Все произошло неожиданно: однажды он распрягал лошадей, а из-за угла на горничную бросился бык, наверно, ее красный платок разозлил его. Кучер Шуляк храбро преградил быку путь, видно, тогда он заметил служанку. Ее госпожа, единственная дочь у родителей, уговорила отца отдать три крепостные семьи за одного кучера, чтоб только не разлучаться с любимой горничной. Поженившись, кучер и горничная долго жили в имении, нажили шестерых сы-

новей, трое из которых второе столетие лежали под смолистыми комлями кладбищенских сосен. Напротив и пониже высилась металлическая беседка с красивыми, чугунного литья столбиками, их обвивали литые виноградные ветки. Там лежала мраморная плита на могиле молодого пана поручика, тяжело раненного на войне с германцами и скончавшегося в своем имении. Теперь, конечно, никого из панов не осталось, заброшенная могила заросла бурьяном; в проржавевшей беседке иногда резвились деревенские озорники, укрывались от дождя прохожие. По другую сторону от этой могилы, меж двух разлапистых сосен, был небольшой участок, где покоился крестьянский род Ровбов: деды, отец с матерью, младшая сестра Текля, двое младенцев, умерших перед войной от дифтерита. Крайней была могила его младшего брата Прокопа, доброго, ласкового мужика, который так и не успел жениться и никого не оставил после себя. Он умер от тифа в восемнадцатом, когда Хведор был в германском плену. Уйдя на войну в четырнадцатом, братья больше не встретились. Было бы славно и ему примоститься рядом, места вроде хватало! В крайнем случае можно было потеснить соседнюю могилу, лежащий в ней не обидится. Может, не признаваясь себе, Хведор ради этого больше всего и стремился сюда, за тысячу километров, после пяти лет изгнания.

Неторопливо и почти без опаски он обошел в темноте могилки родных — четыре рядышком и две чуть пониже — на пологом склоне пригорка, прикоснулся к их шершавым, обомшелым крестам. Боялся, что рядом окажется новый, незнакомый крест. Но в этом месте новых могил вроде не было. Хотя, конечно, могли похоронить и подальше, место есть. Теперь не прежние времена — хоронят где придется, вместе с чужими, да и в чужой земле тоже. Как его Ганулю. Или Олечку. В который раз он почувствовал горький укор, что в спешке так неудачно похоронил дочку — ни оградки, ни даже креста не поставил. Не из чего было, и очень спешил: его поджидали плотгоны, и он верст пять догонял их по берегу.

Он сидел на чьей-то старой, без креста, но аккуратно обложенной камнями могиле, слушал шепот гигантских суковатых сосен, думал. Тяжело навалилась многодневная, застарелая усталость. Чтобы не свалиться от бессилья, надо было встать и идти. Но куда? В хату ни к кому не попросишься, а в сарае найдут поутру. Оставаться же здесь нельзя: на рассвете его сразу обнаружат. Значит, опять — в лес. Лес всегда с молчаливой готовностью принимал его. Тем более примет знакомый с детства Казенный лес. Выручит и теперь, бездомного, не откажет...

Глава вторая

НОЧЬ И ПОКОЙ

Должно быть, он недалеко отошел от опушки. Среди деревьев и частого подлеска было вроде тише, даже теплее будто, он забрался в густую чащобу и упал в жесткие, измятые стебли папоротника. Больше не было сил — ни идти, ни

ползти. Перед тем как уснуть, забыться, вспомнил, что за этот день протопал, считай, верст сорок — от утренней зорьки до ночи. Больше ему не пройти и сорока шагов.

Проснулся, закоченевши от стужи, ноги одеревенели до колен, голова тяжелая, будто с похмелья. Не сразу понял, где он; сперва показалось — на торфяниках под Котласом и что опоздал на работу. Но, разлепив глаза, сообразил: Котлас далеко. Он — дома. В утреннем лесу, у себя на родине. Эта мысль придала ему бодрости, он поднялся на колени и стал согреваться — внутренним усилием преодолевая стужу, как делал это не раз на чужой стороне. На севере мерз почти каждое утро. Правда, там не было времени согреться, там он едва успевал собраться, чтоб не опоздать на развод — в тайгу на лесоповал или на торфоразработки. Там были строгие десятники, крикливые бригады, не дай Бог припоздниться — голодным останешься на весь день. А то еще лобьют и запрут в каталажку.

Тело помаленьку согревалось, а затекшие ноги по-прежнему стыли, впрочем, ноги согреются при ходьбе. Он понимал, что надо идти, днем тут оставаться нельзя. Рядом деревня, в лес скоро пригонят стадо, его могут заметить. Да, скот здесь хорошо походил — Хведор увидел на земле следы коровьих копыт, а потом услышал и голоса: где-то перекликались пастухи. Чтoб не попасться никому на глаза, он поднялся и тихо побрел в глубь леса.

Постепенно становилось теплее, тихо в лесу. Меж разлапистых елей за пожелтевшими вершинами берез проглядывало хмурое небо, и во все стороны плыл, то затихая, то усиливаясь, печальный лесной шум. Хведору очень хотелось есть, давно уже назойливо-пусто урчало в животе. Оно и неудивительно: за весь вчерашний день ни крошки во рту не было, не до еды было — так он рвался домой. Последнюю корку хлеба, которой разжился у женщины на дороге, сжевал позавчера, картофеля не попалось нигде, пришлось идти впроголодь. Вчера-то терпел — от волнения перед скорой встречей с родными местами не чувствуя голода, сегодня же с самого утра терпеть стало невмочь. Только чем тут разживешься? К пастухам не подойдешь, пастухи могут узнать. На дорогу тоже не сунешься — наверняка встретишь знакомого. С незнакомыми легче. Пускай придерутся — у Хведора была справка, что он Зайцев Андрей Фомич, уроженец Смоленской области и работает на Тасминском деревообрабатывающем комбинате разнорабочим. Конечно, Смоленская область далеко, а где Тасминский ДОК, не знал и сам Хведор. Справка, известное дело, могла послужить ему где-нибудь в Коми и не очень за тысячу верст от нее. Но что было делать? Другой бумаги у Хведора не было, а эта дважды помогла ему. И на том ей спасибо.

Тихо, словно крадучись ступая по палой листве, Хведор шел лесом, держа направление на опушку. Он вспомнил старую грушу, под которой вчера было чем поживиться, но тогда ему было не до еды.

Теперь же голод упорно гнал его через лес, пока между кустарников он не увидел простор знакомого поля.

Возле груши никого не было, трава по-прежнему была усыпана плодами. Должно быть, от скотины со стороны поля грушу оберегала зеленевшая рядом озимь, стадо прогоняли стороной, по лесу. Хведор набил карманы армячка гнилобокими грушами, вкус он помнил с детства и стал жевать. Скоро понял, что одними грушами сыт не будешь, значит, надо искать картошку. С этой стороны вдоль опушки всюду зеленела озимь, картошка, наверно, была за лесом. Если не убрали еще. Но не должны убрать, раньше конца сентября никогда не убрали.

В лесу уже совсем рассвело, сильнее шумели сосны, и плыли, мчались по небу косматые тучи. Но дождя не было, не было и росы на земле. Ноги в растоптанных, заскорузлых постолах на ходу согревались. Эти постолы, слава Богу, неплохо ему послужили — какая обувь выдержала бы такую дорогу? В дождь промокнут, а не разлезутся, в сухмень съежятся, задубеют, станут будто железные. Неизносимые постолы! Спасибо тому рабочему, что с косой на плече встретился ему возле путевого барака и вынес кусок зачерствевшего хлеба и эти постолы: «Обувайся, ловчее будет». Хведор был босой, палец на левой ноге был сбит и кровоточил. Он не стал мешкать. Привычно обернув ноги старенькими онучами, натянул постолы. И правда, стало куда лучше, чем босиком, он протопал в них верст, наверно, двести и мог бы еще столько пройти. Постолы выдержат.

Напрягая слух, сторожась, Хведор опять не спеша шел по знакомому лесу, и тихое ощущение счастья лилось в его душу. То был его родной лес, тут он пас когда-то скотину, собирал грибы, потом валил деревья, когда зимой заготавливал рудничную стойку для нужд Донбасса. Казалось, он даже узнает полузабытый шум и шелест здешних деревьев. Там, на севере, лес был другой и шумел иначе — нелюдимо, могуче, угрожающе. Этот же — нет, не угрожал. Деликатно и мелодично трепетала на ветру листва порыжелых березок, вверху, мерно покачиваясь, медленно плыли куда-то вершины елей. Подлесок, однако, поредел за то время, что Хведор не видел его, или, может, бывшее мелко-лесье поднялось, превратясь в ладные деревца вокруг. И была уже осень — желтая и жухлая листва осыпалась, стелилась по траве, местами шурша под его постолами, и он опасался, как бы его кто не услышал. Но миновал, слава Богу, сосновый пригорок, по краю овражка вышел на давнишние корчевья — в глухом углу Казенного леса. Заброшенные давнишние делянки густо заросли кустами ольшаника, молодым ельником, всюду зеленел можжевельник. Чуть дальше начинался Долгий овраг с тихо текущим по дну ручьем. Миновав овраг, Хведор прошел версты две мелколесьем и вышел на опушку. Дальше лежало поле.

Как он и думал, эта часть поля от леса была занята картошкой. Ее уже выкопали, распаханная

борозды: чернели раскиданной ботвой, земля была перерыта истоптана людьми и лошадиными копытами. Постояв на опушке, Хведор поковырялся в конце борозды и сразу нашел картофелину, потом еще две. Плохо выбирают, подумал он с внезапно проснувшимся хозяйским чувством, разве что перепахивать будут... Но если как следует выкопать, то и перепахивать можно на скорую руку. Тут же, похоже, и копали для отвода глаз. Заскорузлыми пальцами он крошил сухие комья земли, находил в них картофелины, запихивал их в карманы. Довольно скоро набралось три полных кармана, класть уже было некуда, и он с сожалением выпрямился: такое богатство в земле! Попадись оно ему под Котласом, где ели траву, кору с деревьев... Картофелина там была ценнее яблока. Даже сырая.

Довольный, с тяжелыми карманами подался назад в лес. Надо было выбрать место, разжечь костерок. Пожалуй, это было теперь самое опасное — костерок. Дым могли заметить в лесу. Пожалуй, лучше всего было податься на вырубку за оврагом, куда, знал, в прежние времена из Недолища нечасто заглядывали. Разве что бабы летом — по ягоды, грибы там не росли. Когда-то там водились волки, их вой на Филиппов пост доносился до его деревни. Дети туда вообще не ходили. Самый раз было ему забраться туда, поближе к волкам. Не к людям же, хмуро подумал Хведор.

Он долго шел лесом, пока набрел на корчевье, спустился в темный, густо заросший ольшаником овраг, ополоснул в ручье грязные руки. Вода была студеной и чистая как слеза, и он про запас напил из пригоршней. По склизким, зеленым от водорослей камням перешел на другую сторону оврага. Вскрабкался по склону не сразу, дважды отдыхая, — все же ослаб. Как два года назад на торфопроизводствах, когда вечером уже не было силы вылезти из торфяной ямы, а лопата казалась тяжелее бревна. Вот что значит жизнь! Да и годы. В молодости, бывало, легко подымал комель сосны на сани, бегом таскал по сходам мешки жита на мельницу. Однажды, чудак, на спор с кусенковскими хлопцами поднял Иванову жеребку. Славная была жеребочка, с лысинкой на храпе, потом на ней ездил милиционер Завьялов... А теперь еле выбрался из оврага, который подростком перемахивал с ходу, без передышки. Вот что сотворило с Хведором время и его нелепая каторжная жизнь. Если бы знать заранее, разве бы так ее устроил? Но и как было устроить иначе? Он ли распоряжался ею?

Вырубки и впрямь густо заросли ольшаником, осиною, по пояс стояли жесткие папоротники, за лето вытянулось к солнцу крупнолистное лесное разнотравье. Отойдя подальше от оврага, Хведор выбрал в кустах небольшую прогалину и принялся ладить костерок. По-прежнему очень хотелось есть, казалось, ничего на свете нет вкуснее печеной, только что вынутой из золы картошки. Но сначала надо было нажечь золы. Костер из валежника, которого тут хватало, загорелся от первой спички, но повалил густой рыжий дым, и Хведор испугался: его запросто могли тут заметить.

Он немного раскидал костерок, чтобы уменьшить дым, совсем его унять было невозможно. Подбросил в огонь побольше хвороста, а сам отошел в кустарник и затаился. Если кто и придет на дым, то возле костра никого не обнаружит.

Он сидел в мелком кустарнике и, глядя на хвост дыма поодаль, горестно думал: до чего дожил! Ну ладно, там, на чужой стороне, за тысячу верст отсюда, там приходилось всего бояться, прятаться, таиться. А здесь? На своей земле? Среди своих людей? Когда и с кем такое случалось? А с ним вот случилось. И ничего не поделаешь. Должен скрываться. Иначе...

Хотя а что — иначе? Погибнет? Это было бы даже заманчиво — погибнуть, может, похоронили бы на своем кладбище. Посадят в тюрьму? Наверно, в тюрьме хуже не будет — будет какая-то пища и крыша над головой. После всего, им пережитого, тюрьмы он не очень боялся. Но его вряд ли накажут тюрьмой. Скорей всего, отправят назад, снова туда, на студеную землю, на которой он жить не мог. Мог только умереть. Как умерла от чахотки его Ганулька, сгорела за два дня Олечка. Почуял тогда, что пришел и его черед.

Но он хотел умереть дома.

И вот ему повезло — он добрался до дома.

Так на что же ему жаловаться? Вчера, как увидел родное поле и деревню, все в душе его засияло, запело. Конечно, расстроился, что гнездо разорено, думал, хутор его стоит. Сколько раз снились ему сад, подворье, колодец с гремучим воротом, недостроенная трехстенка: Все думал, догадались ли те, кто живет там, перекрыть угол амбара. Стреха в левом углу стала протекать, особенно в ливень, все собирался перекрыть свежими снопами. Да не собрался...

Где теперь все это? Куда вывезли? Или, может, пустили на дрова для сельсовета? Как после войны пустили на дрова фольварк Альбертовку. Славный был фольварочек — и дом и конюшня. Конюшня особенно была завидная. Собранный из пиленого бруса, под гонтом. Разорили все, разломали, сожгли в сельсовете и хате-читальне. Похоже, его хутор тоже пошел огнем и дымом. Странно, но он не жалел. Если жалеть все, что нажил и потерял, можно умом тронуться. Наживал годами, за немалую копейку, кровавыми мозолями и хребтом — своим и жены, тряся над каждой соткой земли, над каждой соломиной и щепкой. А потерял все в один миг и сам очутился на каторге.

Только за что?

Это проклятое за то, что раскаленным гвоздем сидело у него в голове. Тысячу раз спрашивал себя, когда ехали в смрадных вагонах на север, когда их гнали обозом по замерзшей реке, когда мучился на лесоповале в тайге, — спрашивал у жены, у людей, знакомых и незнакомых, спрашивал у начальников — за что? Ему толковали о власти, о классовой борьбе и коллективизации. Но никто не смог объяснить так, чтобы стало понятно: за что у него отняли землю, которую ему дала власть, лишили

нажитого им имущества и сослали на каторгу? За что? В чем его преступление? В том, что поверил и согласился взять? Так как же было не взять, как бы он кормил семью? Брат Митька не хотел делиться, потому что и правда делить было нечего — шесть десятин неудобницы, что бы вышло из того раздела? Опять же, брат был старше его, на хозяйство имел больше права, нежели он, младший Хведор. Два лета кряду Хведор батрачил в фольварке, потом женился на такой же батрачке, как сам, без земли и приданого. У Ганульки тоже земли было с заячий хвостик, а семейка дай Бог — восемь душ, из которых пятеро братьев. Как было отказаться от казенной? Взял землю.

За то, что работал с прибытком? Так ведь и зиму и лето бился как рыба об лед: строился, обрабатывал поле, старался исправно платить налоги, выплачивать самообложение, займы, страховку. Подрос сын Миколка — стал помогать. Да и лозунг был от правительства — создавайте культурное хозяйство, — кому хотелось прозябать в нищете, есть хлеб с мякиной? Хведор поверил, что власть говорит правду.

Оказывается — обманулся.

Костерок еще не догорел, когда он нетерпеливо закопал в мелкие угли десяток картофелин — на больше углей не хватило — и снова отошел подальше, стал ждать. Пока вокруг было тихо, только у оврага недолго пострекотала и улетела сорока. А голод дожимал все сильнее и сильнее. Минут через десять Хведор, не выдержав, прутиком выкатил из углей крайнюю картофелину. Она была еще сыроватая и твердая, но для голодного сгодится и такая. Он вытер о штаны перемазанные золой руки и, обжигаясь, принялся есть. Выгреб еще одну. Картошка, как он и ожидал, оказалась на удивление вкусной, и он ел ее одну за другой, пока в костре не остались последние. Эти, видно, испеклись как следует, и он горячими сунул их в карман свитки.

Подкрепившись, почувствовал себя бодрее. Теперь надо думать, как выбраться из леса. Очень хотелось взглянуть на поле, может, узнает кого из сельчан — хотя бы издали он попробует угадать, как живется в колхозе. Видно, не очень чтоб здорово, но все-таки лучше, чем жилось ему эти годы. Главное — на свободе, на своей земле. Под Котлас из деревни никаких известий не приходило, только слухи, да и то иногда. Невеселые, однако, слухи, верить желания не было. А как здесь на самом деле?

Он выбрался из зарослей, обошел овраг и краем мшистого сырого болота вышел на опушку — уже с третьей стороны леса. Здешнее поле называлось Сёрбово и граничило с соседней деревней Черноручье, стрехи которой виднелись вдали на пригорке. Поодаль в поле действительно работали люди, его соседи-колхозники, — копали картошку. Ему ни дня не довелось поработать в колхозе, но он читал о колхозной работе в газетах и ожидал здесь увидеть дружную работу сообща, всею артелью. Может, даже с песнями. Вместо того в ветреной полевой дали раз-

розненно ковырялся в бороздах десяток деревенских баб, и он видел отсюда их согнутые спины, большие головы в толсто повязанных платках, босые ноги. Все таскали за собой огромные коши с картошкой, которые относили к куче посреди участка. Возле той кучи бегал с бумагой в руке голенастый мужик, должно быть учетчик, в то время как трое других гнали плугами борозды, то и дело зло покрикивая на лошадей. Лошади — видно было отсюда — едва двигались от усталости, мотая низко опущенными головами. Это были худые, заморенные крестьянские лошади, которых в их деревне когда-то можно было увидеть разве что у самых никудышных хозяев — Цыпрукова Змитера да у Игналёнка. Все же другие, как бы там ни жилось, за лошадьми старались досматривать, потому что без лошади нет хозяйства. Тут же, судя по всему, коней добили основательно. Правда, он наблюдал издали — может, вблизи эта работа не казалась такой тяжелой, может, и бабы работали веселее. Но что-то отрешенно-печальное влилось в его ощущения возле того поля и угнетало. Конечно, люди были слишком далеко, чтобы можно было кого-то узнать, хотя узнать очень хотелось... Он недолго постоял и краем леса двинулся в другую сторону — к большаку, надеясь, может, там встретить кого из знакомых. Только бы в лицо узнать, а заговорить да расспрашивать он не решится. Довольствуйся малым, а что поделаешь: видно, такая его судьба. Его выслали из деревни, выбраковали, словно запаршивевшего подсвинка, чтобы не портил стадо, вышвырнули подальше и забыли. Мог ли он кому навязывать себя? Тем более причинять вред внезапным своим появлением?

Большак, сколько Хведор помнил его, не изменился — был все так же разбит, разъезжен, поблескивал застарелыми лужами посередине, которые, видно было по колеям, с обеих сторон объезжали повозки. И две березы на той стороне стояли, как стояли и в его молодости, одна высокая и прямая, а другая раздвоенная, вилами — старые, заскорузлые березы с иссеченной на комлях корой. Под прямой, видно было через дорогу, недавно горел костер, пламя опалило кору, сожгло нижние ветки. Пастухи, наверное. Хведор присел пониже за пыльным придорожным кустарником, ждал, поглядывая в оба конца дороги. Пока никого не видать, должно быть, все в поле, чего ради колесить по дорогам без дела. Но он терпеливо сидел и думал. Кого прежде всего хотел бы он здесь увидеть? Пожалуй, Савчика Лёксу. Все же сосед, одноклассник и вообще душевный мужик, дай Бог ему счастья. Только не очень-то Бог наделил Лёксу счастьем. В николаевскую войну он был ранен шrapнелю в плечо и, сколько его помнил Хведор, все маялся с рукой, тяжелая работа ему не давалась. Но в крестьянском деле где возьмешь легкую? Бился несчастный Лёкса на одном наделе с кучей малых ребят. Хведор иногда подсоблял ему — то напилит дров, то навоз поможет накидать на телегу. Но помогал так, по-соседски, без большой охоты, а иногда и с досадой, когда, бывало, попросит хомут, а тут самому запрягать надо. Порой одалживал ему денег. В об-

шем, Хведор его жалел, потому что сосед, к тому же ровесник, оба немало натерпелись на германской войне. Знать бы, как все обернется дальше, жалел бы больше, с большей душой. Все же хороший был человек Лёкса.

Ну да, видно, зряшное это дело — ждать того, чего хочешь.

Немало времени Хведор просидел у дороги, она по-прежнему была пустынной, пожалуй, напрасно он сюда притащился. И только подумал — со стороны местечка появилась повозка. Пегая лошадка живо катила вниз с горки, в телеге двое — мужик и баба. Любопытно, что лошадей правила сидевшая в передке баба. Бабу он не узнал, даже когда повозка подъехала ближе. А вот мужик... Мужик был в зимней кудлатой шапке, в кожаной куртке с поднятым воротником, понуро сидел в заду повозки, сложив на коленях руки, ноги были укутаны пестрым лоскутным одеялом. И все время он глухо, нехорошо покашливал. Что-то знакомое показалось Хведору в его измученном лице, и, когда телега совсем была близко, вдруг он, словно кто подсказал, узнал Зыркаша. Да, это был Микита Зыркаш, который написал на Хведора, что у него молотилка, с этого все и пошло. Сперва одно твердое задание, потом другое, дальше больше, пока не выслали. Однако же, видно, и у завистника Зыркаша не задалась жизнь, ясно, что болен. Видно, жена везла его из больницы или от доктора, и, взглядевшись в бледное лицо Зыркаша, Хведор понял: не жилец на этом свете Зыркаш. Одной ногой он уже там. Хведор хорошо чувствовал это — насмотрелся на таких за свою жизнь. В душе невольно шевельнулось мстительное чувство к больному: действительно, Бог видит все и карает по справедливости. Раньше он бы порадовался, а теперь не смог. Зла на обидчиков он уже почти не держал — перегорело оно за годы собственных мук, никому он не желал зла, как и себе тоже. Пусть поправляется и долго живет на земле завистник Зыркаш.

Но почему-то стало тоскливо. И горько. День вроде клонился к вечеру кончался первый долгожданный день его пребывания на родине. Все получалось не так, как он ждал, все через пень колоду. Что будет дальше?

Он еще посидел немного, может, еще увидит кого на вечерней дороге, но больше никто не появился на ней. Стало смеркаться, он поднялся и краем леса потащился к деревне. Пожалуй, пока не стемнело, надо было пробраться на свое корчевье, но его упрямо тянуло к деревне. И он медленно шел по лесу, потом, осмелев, выбрался на опушку к озимому полю. Над ложиной и полем уже сгущались осенние сумерки, слабо заблестело вдали несколько огоньков в деревне колхозники зажигали свет. И ему захотелось заглянуть с улицы в чье-нибудь окошко, посмотреть на людей в хатах, может, увидеть знакомые лица. Рискованно было, но, может, не узнают, даже если заметят. А окликнут — он не отзовется, словно глухой, тихо пройдет по улице. Так подмывало увидеть кого живого-знакомое! Но доброго человека, не злыдня, конечно.

Тихо, словно крадучись, останавливаясь на каждом шагу, он, как и вчера, миновал по озими свое несчастливое селище, медленно вышел огородами к улице. Вот и приземистая Савчикова хата под кривой суковатой вербой. Если забраться в огород, то окажешься возле окна, напротив Лёксовой печи, у того же окна впритык к подоконнику когда-то стоял кухонный столик. Вовсе уже впотьмах Хведор перелез через изгородь, обжигая в крапиве руки, пробрался ближе к постройкам. Света в окнах у Лёксы пока не было, но Хведор почувствовал, что там не спали — какие-то неясные звуки из хаты порой доносились до его слуха. Затаившись в крапиве, он ждал. И правда, где-то наконец глухо стукнула дверь, в окне появился зыбкий свет от коптилки. Мелькнул в одном окне, в другом и замер в дальнем углу, у запечья. Хведор напряженно вглядывался — кто там? За окном метнулась и пропала чья-то неясная тень. Кто это был, отсюда разобрать было невозможно. Не слышно было и человеческого голоса в Лёксовой хате, а когда-то набита была ребятишками. Или, может, там никого не было, кроме этой безмолвной тени? Но где же тогда остальные? Где сам Лёкса? И его пять дочерей?

Больше из крапивы ничего не видать, огородом — на улицу и снова, как вчера, неслышно побрел Хведор по деревне. Красный мигающий свет от коптилок засветился еще в нескольких хатах, но в двух окна были завешены, а возле третьей кто-то топтался во дворе у самой калитки, и Хведор, втянув голову в плечи, торопливо протопал мимо.

Глава третья

ПОЛНОЛУНИЕ

Ночевал снова в лесу. По опушке отошел подалее от деревни, набрел на сухой боровой мшаник и скорчился под кустом можжевельника. Ночь выдалась холодной, сон долго не шел. Почти до первых петухов он вертелся на мху, содрогаясь от стужи и все размышляя над нелепыми вывертами своей несчастной судьбы.

Все не переставал удивляться, как ему повезло, может, первый раз в жизни. Правда, если бы знал заранее, что его ждет дома, то, может, подумал бы, стоит ли рисковать ради такого. Но не знал, не догадывался, и, в общем, хорошо, что не знал, поэтому вот теперь — дома. Что будет потом, он не думал ни тогда, когда решился на это, ни сейчас, когда достиг цели. Главное — он добился чего хотел, а там будь что будет. Не очень это разумно, если вообще не глупо. Как у пьяницы, который стремится раздобыть бутылку, а о будущем похмелье не думает. Или как голодный — лишь бы сейчас наестся, а что будет потом — его мало заботит. Казалось, Хведор утолил жажду своей души, а о дне завтрашнем боялся и думать.

Ночью снова стал донимать голод. Две печенные картофелины он съел, блуждая по лесу, в кармане оставались лишь три сырые. Там, под Котласом или Сыктывкар, за милую душу ели и сырые. Если нарезать дольками и положить на хлеб, как редьку или брюкву, съешь и пальчики оближешь. И очень годится от цинги. Видно, придется и тут переходить на сырое, особенно когда кончатся спички. Как он ни берег их, осталось всего шесть штук в измятом, потертом коробке, а больше где взять? В лесу не найдешь, в деревне не попросишь. Попросить можно было в той стороне, где тебя не могли узнать. А тут сразу узнают. Вот диво, подумал Хведор, выходит, что беглецу в чужой стороне сподручнее, чем в родной. К которой так рвался, о которой не переставал думать ни ночью, ни днем, где столько знакомых, соседей, односельчан. С которыми прошла его жизнь. Но как раз к ним и не сунься, их надо остерегаться пуще всего. Вот как нелепо получилось. Так не по-людски и не по-божески. Почему так?

Теперь у него, как у малого ребенка, были десятки и сотни таких почему, ответить на которые он не мог, сколько ни думал. И никто ответить не мог, у кого он ни спрашивал.

Эта ночь казалась бесконечной и прошла для Хведора в непрестанном борении с холодом. Он все вертелся на стылом мшанике, уже не превозмогая дрожи, стучал остатками зубов — старался согреться. Но согреться было невозможно. Да и смутная тревога, неотвязная на грани сна, цепко держала его в своих объятиях. Он то забывался в каких-то дремотных видениях, то просыпался снова. Вокруг было тихо. К полуночи почти затих привычный шум леса, вершины елей совсем пропали в густой темноте неба; между туч сверкнула и исчезла высокая одинокая звездочка. Наверно, уже за полночь где-то загикала лесная сова — в стороне болота, за вырубками, — коротко гикнула в последний раз и умолкла, будто подавилась. Может, и он ненадолго задремал под утро, совсем обессилев в борьбе со стужей и незаметно для себя притерпевшись к ней.

Проснулся, охваченный неясным беспокойством, почти испугом, поднял голову и увидел перед собой мокрую коровью морду с ниткой зеленой слюны на губе. Корова в упор разглядывала его большими печальными глазами и жевала. Рядом зашелестели ветки, и из кустов появилась еще одна буренка со сломанным рогом на крутом лбу, которая тоже уставилась на Хведора. В следующее мгновение он со страхом понял, что очутился возле деревенского стада, которое, того и гляди, сейчас обступит его, и вскочил. Конечно, коровы были ему не страшны, но где-то поблизости шли пастухи, они могли его увидеть. Взмахнув на коров руками, он двинулся в сторону, в заросли можжевельника, когда совсем рядом залилась лаем собака. Судя по визгливому голосу, собачонка была так себе, во всяком случае не овчарка. Но, черт бы ее побрал, она устроила немалый переполох в лесу и, конечно, дала знать о нем пастухам. Что было мочи Хведор бросился прочь, в глубь леса. Собачонка выскочила

из-за можжевельника и помчалась рядом, словно наперегонки с ним. Ослабело трюхая меж деревьев, Хведор вполголоса ругался, пытаясь унять собаку, но та не унималась, и ее остервенелый лай неотвязно сопровождал его. «Маленькая, а злая, чтоб ты сдохла, поганка», — на бегу думал Хведор. Но, видно, сдохнуть она не собиралась и долго еще гнала Хведора.

Наконец, притомившись, собачонка начала отставать, ее пронзительный лай прерывался порой, пока наконец и вовсе не затих позади. Но и Хведор изрядно вымотался от этого бега наперегонки и едва брел между деревьями. Его душили злость и обида. Это ж надо — еще и собака! Боялся нарваться на собаку в деревне, а она настигла его в лесу. Пусть бы уж волк, дикий кабан или овчарка, как это случалось на севере, а то мелкая визгливая тварь. Чтоб ты сдохла, проклятая! Хорошо еще, если в мелком кустарнике его не заметили пастухи.

Проклятая собачонка загнала его в тот край леса, который он знал хуже всего. На сумрачной голой земле тут не было даже травы или мха — все сплошь усыпано хвоей. Вокруг тесно стояли темные суковатые ели, сквозь их чащобу почти не проглядывало далекое небо. Зато было тихо, покойно, казалось, людские страсти совсем не проникают сюда. Ровный лесной шум катился-плыл где-то поверху, почти не достигая земли, и треск сучка под ногой был слышен далеко. В этой стороне леса Хведор был когда-то всего два раза, и, кажется, оба зимой, когда валили лес для Донбасса; помнилось, как отвозил тогда свои кубометры за сорок километров на станцию. Далее к западу начиналась знаменитая в здешних местах Боговизна — огромное, без дорог и селений болотное пространство, широкой полосой протянувшееся до самой польской границы. Это был уже совсем чужой край, таинственный и малознакомый.

От усталости плохо держали ноги, хотелось упасть и не подняться. Хведор долго не мог успокоиться после изнурительного бега и неприкаянно брел ельником, то и дело обходя низко торчащее еловое сучье. Наверно, теперь можно было не бояться: стадо сюда вряд ли пригонят, людям и скотине тут делать нечего. Понемногу он успокаивал себя, но вместе с успокоением все настойчивее давало себя знать привычное чувство голода. Он невольно озирался, словно пытаясь разглядеть что-либо съестное. Но, видно, съестного тут не водилось. Вконец измотавшись, сел на низкий сук выворотня, достал из кармана старенький ножик. Когда-то, еще до колхозов, купленный в сельской лавке, он неплохо послужил Хведору и там, на севере, и в дороге. Большое лезвие его расшаталось, сточилось до узкого перышка, зато меньшее прочно сидело в железном черенке. Этим лезвием Хведор слегка поскоблил картофелину и стал ее есть, отрезая небольшими ломтиками. Вкус сырого картофеля был не очень привычен Хведору, но ему теперь было не до вкуса. Лишь бы что-нибудь да жевать, чтобы приглушить голод. Потому что уже не было сил брести по этому неприветливому, диковатому лесу.

Так он съел и остальные картофелины (больше в карманах ничего не было), нисколько не утолив го-

лода. По-прежнему хотелось есть, и он подумал, что надо поискать грибов. Есть сырые грибы, конечно, риск, но если развести костерок... Пожалуй, тут можно. Или зайти еще глубже в лес, поближе к Боговизне. Уж там его вряд ли кто обнаружит.

Потом он долго расслабленно брел ельником, не очень и представляя, где он находится, а ельник все не кончался, и никаких грибов в нем не было видно. Изредка попадались старые, очевидно летние, почерневшие мухоморы, и ничего больше. Или, может, не грибной выдался год, думал Хведор, все больше впадая в уныние из-за своей сегодняшней невезухи. Потом он свернул в сторону — ближе к лесной деревушке Чезляки, которая, как он представлял, должна была находиться где-то поблизости. Уж там, наверное, этот ельник кончится, и в тамошних перелесках он что-нибудь да отыщет. Если не боровики, так хотя бы сыроежки. Только бы не пасли там скотину. Где пасется скотина, туда по грибы не ходят.

Он еще не дошел до Чезляков — не знал даже, много ли до них осталось, — как на болотистом мшанике между елей увидел клюкву. Густая ягодная россыпь в мелких глянцевиных листочках, никем, казалось, не тронутая, будто нарочно дожидалась его. Хведор бросился на мшаник и с жадностью стал есть ягоды, не очень разбирая, с листьями и мусором. Ползая на коленях по волглому мху, загребал их пригоршнями, ссыпал в карманы. Конечно, клюква плохо утоляла голод, но вкус у нее был приятный — кислый, с детства привычный вкус, который он не забывал и на севере. Там тоже время от времени случалось набрести на заросли клюквы или морошки, которые не раз спасали ссыльных от голода и болезней. Только там нечасто выпадало такое ягодное изобилие — вблизи от поселков ягоду поедали еще зеленой. Жаль, что целыми, без дыр оказались у него лишь три кармана — в штанах и в свитке, — много ли наберешь в них. Когда карманы были наполнены, он принялся грести ягоды в кепку и ползал по мшанику, пока наконец не сказал себе: хватит! Всего не съешь, а взять с собою больше не во что. На всякий случай постарался заметить счастливый мшаничек за большим ельником в сторону Чезляков. Может, еще пригодится.

Немного повеселев, с набитыми клюквой карманами и полной кепкой пошел дальше. Куда — и сам не знал. Ельнику, казалось, не было конца-края — или, может, Хведор взял не то направление?

Должно быть, и в самом деле не то. Он понял это, когда ельник вдруг оборвался, впереди посветлело и он увидел широкую полосу осоки, за которой простирались глухие заросли лозы, крушины, ольшаника. Кажется, тут начиналась Боговизна, слышавшая среди здешних жителей особенным, почти дьявольским местом. Все необыкновенное и жуткое было связано с Боговизной. Ею пугали плаксивых детей и пьяных мужиков, в гнев желали обидчикам провалиться сквозь землю в Боговизне. Говорили про какой-то подземный ход, или подземное русло, которое будто бы соединяло тамошние бочажины с другими омутами и озерами. Когда перед революцией в Боговизне утонула Змитрокова корова, то осенью ее труп нашли в Белом озере —

за семь верст от Боговизны, хотя на поверхности их не соединяла никакая даже самая малая речка. То был людьми и Богом проклятый край — многие версты непролазной трясины и болотных омутов с зарослями чахлого ольшаника, камыша, аира, местами на кочках буйно разрастался лозняк. Люди испокон веку обходили эти места, а если кто ненароком и забредал сюда, то потом спасу не было от темных страхов, испуганно кричал по ночам. Зимой Боговизна слегка подмерзала, но ее бесчисленные окна-бочаги даже в самый лютый мороз покрывались лишь тонким, непрочным льдом, который не держал человека. Разве что волка. И в морозные январские ночи оттуда доносился протяжный вой многочисленных волчьих стай. Некогда в соседних с Боговизной лесах водились медведи, немало досаждавшие жителям окрестных селений. С детства Хведор помнил рассказ деда про встречу с косолапым, когда старика захватил ливень и он укрылся в выжженном пастухами дупле старого дуба. Лил дождь, были сумерки, а в дупле и вовсе стало темно, когда снаружи в него сунулось что-то косматое и вонючее. Дед сжался, ни живой ни мертвый, медведь так его придавил широким косматым задом, что невозможно былодохнуть. Косолапый поудобнее устраивался в тесноте, видно, собираясь задержаться здесь надолго. Но деду задерживаться было некогда, ему нужно было домой, а прежде найти и обротать лошадь, которую он отпустил попасться неподалеку. И как было выбраться, чтобы не потревожить непрошеного гостя? Дед думал, сомневался, но не надумал ничего лучшего, чем изо всей мочи крикнуть из-за спины. И медведь, словно пробка из бутылки, выскочил из дупла, обдав деда смрадом. Такой была Боговизна.

Хведор постоял возле болота, и подался прочь от гиблого места, и снова долго брел лесом. Опять притомившись, сел под толстенной смолистой елью, положил на колени кепку с клюквой, по яголке жевал, думал. Как все-таки славно в лесу на воле! Никто тебя никуда не гонит, ты никому не нужен, никто не нужен тебе. Если бы так можно было прожить жизнь! Впрочем, так когда-то и жили — в дружбе с природой и лесом, находя в нем и прокорм в голодные годы, и пристанище во время лихолетий. Лес оборонял, согревал, кормил — был лучшим благодетелем людей. Но то прежде. А теперь вот настало другое время — не спастись и в лесу. У людей всегда отыщется повод, зависть или злоба — разыщут в лесу, найдут под землей. Это он хорошо усвоил. Хотя и не заметил, с чего все повелось, что стало тому причиной. Вот и в природе, кто знает, в чем тут загадка, но случается почти так же. Ему припомнился случай на северной реке, когда он работал сплавщиком. Сидел однажды в будке на плоту, затесывал клин под ослабшее перевясло. И вдруг через открытую дверь к нему стремглав влетел воробей, бросился на плечи, на голову, сбил на пол шапку. Хведор с перепугу пригнулся, замахал руками, словно отбиваясь от птицы, которая тотчас же вылетела на волю. Выскочив следом, Хведор понял, что заставило ее броситься к человеку. Над плотами стремительно вилась воробьиная стая, которая вся враз словно по команде набросилась на беднягу. В воз-

духе ошалело завертелся злой птичий клубок, воробьи в клочья рвали несчастного собрата. Скоро от него ничего не осталось, только несколько перышек тихо опускались над водой. Круто развернувшись, стайка скрылась за лесистым обрывом реки. Удивленный Хведор стоял и думал: за что? Даже и птицы! Неужели в этом исконный закон природы, чтобы все — на одного? Но почему на этого одного? Чем этот воробей вызвал гнев остальных? Поступил иначе, чем все? Нарушил какой-то птичий порядок? А может, своей несхожестью с другими? Разве не могло так быть, что виноват не он — виновата стая? Как у людей? Разве у птиц так не бывает?

Хотя, наверно, у птиц бывает иначе, чем у людей. Все же у птиц больше справедливости. Случай с воробьями он наблюдал один раз в жизни, а на людскую несправедливость посмотрелся до тошноты. Видел ее, считай, каждый день.

В этот раз он долго сидел под елью, как-то домашнему расслабился, даже вздремнул немного. Где-то над ним, на еловой вершине, горласто прокаркала ворона, и он очнулся от дремы. Все его мысли были далеко от этого ельника — они были там, в деревне. Он думал о ней на севере, думал теперь. О ее хатах, заботах. О своих соседях. О ее полях, политых потом. Он не мог войти в нее запросто, но мысленно всегда был там. И его неудержимо тянуло туда. Невзирая на опасность.

Где-то под вечер он наконец решился и снова потащился лесом. Шел прежней дорогой сквозь ельник туда, откуда его прогнала собака. Шел осторожно, оглядываясь по сторонам, часто останавливался, прислушиваясь к звукам леса, всегда таинственным. Вокруг было тихо и пусто. К вечеру, кажется, утих ветер, ели стояли в отрешенном покое, словно задумавшись о чем-то. Напугавшее его стадо, должно быть, уже бредет к выгону, думал Хведор, злая собачонка старательно подгоняет отставших коровенок. Люди тоже спешат с поля к своему жилью; на ночь глядя в лесу никто не хочет остаться. Даже такой несчастный бродяга, как Хведор.

Он еще не вышел к опушке, как начало смеркаться. В лесу под деревьями густел мрак, сливался в непроницаемую массу ближний кустарник, волглой становилась трава под ногами, и Хведор заторопился. Уже в сумерках миновал то место, где на него набросилась собака, и вскоре вышел из леса. Впереди светлело подернутое сумерками поле, стада на нем нигде не было видно. К деревне надо было идти вдоль леса по истоптанной скотом стерне. Но выходить в поле было еще рано — все-таки еще не совсем стемнело, и он сел под кустом на опушке. Сидел. Опять ел свою клюкву, коротал время. Поодаль перед ним лежал выгон, знакомая до мелочей околица деревни — с двумя грушками на Петраковом наделе, с кучей камней на бывшей меже в конце выгона. Некогда тут был и отцовский надел, на котором немало потрудился Хведор. Правда, больше и дольше его хозяйствовал там старший брат Митька, который в начале коллективизации подался в Донбасс. Сперва уехал сам, а потом забрал и семейство, навсегда оставив хату, землю, все дворовое имущество. Должно быть, невозможно тут стало жить брату

ссыланного кулака, и Митька решился на добровольную ссылку. Как он теперь там, на шахтах? Ни разу не написал Хведору в далекий Котлас, как, впрочем, и Хведор не отважился написать ему. Да он и не знал адреса брата. Распадались семьи, рушились кровные человеческие связи. Братья становились чужими. Такое настало время.

Да что брат, если вот и сын тоже.

Про сына Миколку Хведор не переставал думать ни на минуту, это была его вечная боль, неумная большая забота. Хорошо, конечно, что сыну удалось отмежеваться от позора семьи и даже пробраться в начальство. Но, надо думать, очень рискованно все это, можно и погореть дотла. Чужало отцовское сердце, что чересчур шаткое, должно быть, ненадежное положение у Миколки, и так хотелось уберечь его от беды. Но много ли он мог сделать, беглый спецпереселенец? Разве что отречься от сына, никогда не напомнив о себе ни просьбой, ни письмом, ни даже скупой весточкой, — будто он умер или его вовсе не существовало на свете. Пусть будет счастлив сынок Миколка, пусть никогда и ни в чем не упрекнет отца. Может, повезет хоть последнему из рода Ровбов, других удача уже навсегда миновала.

Над полем и выгоном тихо опустилась холодная ночь. На небе в рваных ошметках туч появился сверкающий диск луны, недолго повисел над полем и закатился за взлохмаченный край тучи. Скоро он выкатился снова и светил долго и ярко, обливая поле, опушку и человека на ней призрачным серебристым светом. Хведор не любил полнолуния, оно всегда тревожило его причудливым светом, загадочным смутным предчувствием. Теперь же полная луна и вовсе была ни к чему, и Хведор ждал, когда она скроется надолго. Деревня и хаты с опушки были видны плохо, отсюда их закрывала купа кладбищенских сосен, которые слитной высокой массой чернели за выгоном. Там царил тьма и даже при лунном свете ничего нельзя было разобрать. Хведор, однако, вглядывался в далекие очертания деревенской околицы, и его все больше тянуло к кладбищу. Когда луна наконец скрылась в тучах и вокруг все враз будто съежилось, потемнело, он поднялся из-под кустов и торопливо пошел по полю. Луна между тем снова ненадолго выглянула и снова скрылась за облаками, но он уже не останавливался до самого кладбища.

Со стороны поля ветхая кладбищенская ограда была сломана, должно быть скотиной, он перелез через уцелевшую нижнюю жердку и остановился. Скупой свет луны, словно инеем, серебрил беспорядочное нагромождение крестов и могил. Это были, очевидно, новые захоронения, их собралось тут много, и ни одно из них не было знакомо Хведору. Кресты, большие и малые, а то и вовсе махонькие, могильные холмики совсем без крестов заняли всю низинку у выгона. На высоких католических крестах кое-где виднелись белые ситцевые ленты, засохшие букеты внизу. Хведор заметил в отдалении вырезанную, должно быть, из фанеры пятиконечную звезду, отчетливым силуэтом выделяющуюся на фоне светловатого неба. С застенчивым любопытством он осторожно прошел между могил и в свете луны ошеломленно прочитал на

черной дощечке: «Сокур Иван». Ниже были обозначены даты рождения и смерти. Минуту он недоуменно смотрел на надпись, оглядел невысокий могильный холмик. Было заметно, что могилу не обкладывали и, похоже, никто не присматривал за ней, вся она густо поросла бурьяном и выглядела совершенно заброшенной. Впрочем, как и многие другие могилы рядом. Но те были, наверно, давние, забытые могилы, и вот эта принадлежала человеку, которого должны были помнить в деревне. Когда Хведора ссылали на север, этот Сокур помогал районным начальникам и в то время казался бодрым, вполне здоровым мужчиной. И отчего он очутился тут до поры, недоумевал Хведор. И злым он, кажется, не был, Хведор на него обиды не держал. Хотя... Может, знает он, что близкий конец, мог бы быть и получше. Таким, как его отец, спокойный, рассудительный старик, не только никому не причинивший зла, но многим помогавший в их трудный час. Было время, он приютил семью брата, убитого молнией. Была гроза, брат укрылся под грушей в поле, да так там и остался. Вечером его, мертвого, нашли пастухи, назавтра схоронили, осталась больная вдова с шестью детишками. Старый Сокур всех перевез к себе в хату, воспитал, вывел в люди детей. Хороший был человек. Но, должно быть, сын пошел не в отца. Большого зла он людям не чинил, но, видно, был слишком покладист на должности председателя сельсовета, и районное начальство помыкало им как хотело. В тот день, как высылали Ровбу, он был поставлен следить, чтобы раскулаченные согласно приказу взяли с собой только пилу, топор, кое-какую одежку да харчей на три дня. Все остальное — картофель, зерно, имущество, нажитое годами труда и пота, — реквизируют в пользу сельсовета. Пускай бы реквизировали на общественные нужды, думал потом Хведор, но они же отбирали прежде всего затем, чтобы не оставить ссыльным, не позволить взять в дальнюю дорогу, чтобы те поскорее поумирали там от голода и стужи. Шестилетняя Олечка как раз надела новые валеночки, осенью скатанные для нее в местечке. Всю зиму девочка берегла их, обходясь старенькими, латаными-перелатаными отопками, которые было решено доносить до весны и выкинуть. Но когда стали собираться в эту дорогу, мать велела ей надеть новые — все же выправлялись в люди и матери не хотелось, чтобы девочка выглядела хуже других. Олечка послушалась, на свою беду, и перед самым отъездом стояла на затоптанном крыльце в ладных черных валеночках. Зря, видно, стояла. Бросились эти валеночки в хищные очи уполномоченного, мрачного человека в черном полушубке, и тот что-то приказал Сокуру Ивану. Сокур помялся, передернул бритым лицом, но подошел к девочке и передал приказ. Оля послушно сняла валенки и осталась на снегу в одних рваных чулочках. Увидев это, Ганулька заплакала и вынесла из сеней оставленные там отопки. Хведор укоризненно проговорил про себя: «Да-а-а!» — на что Сокур молча пожал плечами: мол, при чем я — приказали! Он подобрал те маленькие валеночки и носил с собой, пока раскулаченные грузили пожитки, прощались с родней. А Хведор все думал про него: не по-

божески это — разуть дитя, не в теплые же края едут — на север, в стужу и морозы. Нет, не сказал. И поехала Олечка в ветхих отопках, и ходила в них еще две зимы, и простужалась, и хворала. Пока не простудилась последний раз, когда уже ничего ей не стало нужно.

В тот раз по широкой северной реке они гнали плоты — целый плавучий караван из бревен на тысячи кубометров древесины. Было их тринадцать человек в бригаде Кузнецова, средних лет бородатого мужика, наверно, всю свою жизнь проработавшего на сплаве. Он хорошо знал реку, все ее повороты, мели и перекапы, умел сноровисто обойти опасный каменистый слив, не рассыпать связки, не напороться на камки или на какой-нибудь полузатопленный песчаный остров. С людьми был строг, неразговорчив, не любил лодырей и слабосильных (что было для него одно и то же). Поэтому, видно, Ровба и попал в его бригаду — он был тогда вынослив, терпелив и беспресловен. Нашлась, однако, причина, от которой едва не кончилась его работа на сплаве. После смерти жены осталась одна, без присмотра десятилетняя Олечка, и Хведор вынужден был взять дочку с собой. Но находиться на плоту посторонним строго запрещалось, поэтому Кузнецов, увидев плотогона с ребенком, тут же отправил его в контору. Может, он думал, что Ровба станет артачиться или упрашивать, а Ровба покорно собрал свой узелок, взял за руку дочку и, сказав «до свиданья», молча сошел на берег. С берега в последний раз оглянулся на реку и бригадира, который молча стоял на плоту. И вдруг бригадир взмахнул рукой, давая им знак вернуться. Хведор покорно, как и уходил, вернулся, и Кузнецов раздраженно выпалил: «Оставайся. Только смотри: погоришь — я ничего не знаю. Понял?» — «Понял», — скупое сказал Хведор, безмерно обрадовавшись такому повороту судьбы. В самом деле, он уже свыкся с работой на сплаве, ему нравилось речное приволье, лесные берега вокруг и высокое вольное небо над ними. Тяжелой работы он не боялся, думал, что тяжелее, чем на торфоразработках или на лесоповале в тайге, нигде не будет. Опять же при нем всегда будет Олечка, и душу его не будет щемить всякий раз, когда придется оставлять дочку одну и терзаться, как она там, не голодна ли, не обидел ли ее кто из взрослых. При жизни матери все было проще и спокойнее (хотя и тогда Олечка целыми днями сидела в холодном бараке, пока мать работала на лесосеке). Теперь же в поселке не осталось ни одной знакомой, родной души, а люди там были разные, собранные со всего света — как было бросить дитя без присмотра? Хведор был очень благодарен бригадиру за его доброту и за двоих вкалывал на сплаве.

Если бы он знал, чем обернется для него эта доброта, лучше бы оставил дочку в тайге, в первом попавшемся лесном поселении среди чужих, незнакомых людей. О, если бы знал...

На плоту Олечка не оставалась без дела, была услужливой, очень старательной девочкой и чем могла помогала строгим молчаливым дядькам. Спустя несколько дней бригадир поставил ее помощницей к кашевару Кравцу, тихому, покладистому человеку,

самому старому в их бригаде. Кравец, в общем, неплохо относился к девочке, не обижал. Иногда, правда, прикрикнет, если она сделает что не так или замешкается, но прикрикнет без злобы. Без злобы — это главное. Не то что его земляк Роговцев — крикливый, психованный проходимец, который на каждом шагу все с матом, с самыми паскудными словами. По всякому поводу и без повода, наверно, больше по причине своей вечной нутряной озлобленности. Всякий раз, когда Хведор слышал эту матерщину, ему словно гвоздем протыкало сердце. По возможности он старался оградить от нее Олечку и, как только Роговцев начинал сквернословить, нарочно заговаривал о чем-нибудь с ней или отсылал ее на другой конец каравана. Но однажды, когда этот матерщинник особенно похабно заговорил при ней о бабах, стоящих на берегу, Хведор не вытерпел и сдержанно упрекнул человека: мол, негоже так распускать язык при ребенке, можно бы немного и по-людски. Роговцев тут же заорал, что ссыльный Ровба ему не указ, что его матюки мелочь для того, кто нелегально содержит на плоту посторонних и тем самым нарушает режим. Вот он стукнет в ближайшем поселке, и тогда его доченька не такое услышит на ближайшем этапе, куда ее запрототируют вместе с ее чистоплюем папашей.

Хведор так растерялся от этих бессовестных слов, что не нашелся что ответить. Казалось, он уже достаточно насмотрелся на всяческую человеческую подлость, но такой не видел. Вечером, когда они прошли трудную Устюжную мель, об угрозе Роговцева он рассказал бригадиру, думал, бригадир заступится, отчитает наглеца. Но Кузнецов только насупился и сказал: «Этот все может». «Так что же мне делать?» — растерянно спросил Хведор. И Кузнецов, сверкнув на него строгим взглядом, ответил: «Появятся чужие — прячь дочку». — «Где же тут спрячешь на плоту?» — искренне изумился Хведор. «А под плотом и спрячешь», — бросил бригадир и зашагал себе по скользким бревнам на корму к стерновому. Хведор стоял, не зная, всерьез это или, может, в издевку. Только постепенно до его сознания дошло: а и правда, можно ведь спрятаться в воде, за плотом. Олечка уже научилась неплохо плавать, будет держаться за бревно, авось не утонет. Тревожило только одно: лето было на исходе, вода с каждым днем холодала, они на плотках уже перестали купаться, только умывались по утрам. Утра становились совсем холодными.

Кто знает, исполнил ли свою угрозу этот Роговцев, но вот как-то на плот для проверки спрыгнул вохровец из районной комендатуры. Была как раз остановка плотов перед Усывинским перекатом. Случалось, вохровцы навевывались для проверки и прежде, но проверяли больше для вида: спросят кое о чем у бригадира, позыркают по сторонам и спешат на берег. Этот же, мордастый приземистый вахлак в длинной серой шинели, поговорив с бригадиром, намерился пройти по плотам до кормы, и у Хведора недобро заняло сердце. С багром в руках он стоял по правую сторону плота, а в пяти шагах от него, держась за веревку, сидела в воде Олечка; только ее светлая головка покачивалась возле бревна на поверх-

ности. И вот вохровец остановился посреди плота, лениво пораскачивался на толстом комле и завел с бригадиром разговор о хитростях здешней рыбалки, о том, на какую блесну берется осенью семга. Время было не позднее, но уже далеко не полдень, с севера дул холодный ветерок. Хведор напрягся от нетерпения, слушая этот бесконечный пустой разговор. Но вот, кажется, они уже собирались возвращаться к берегу, уже повернулись, уже шагнули идти... И снова остановились. Вохровец, показывая на поселок, что-то говорил бригадиру, а Хведор молча, про себя ругался: чтоб ты сдох, сытый пес! Олечка, видно, уже зачоченела в воде за плотом, а вохровец медленно, с остановками шел по неподвижным плотам, говорил и говорил, потом бесцельно топтался у берега, все оглядывая реку. Хведор стоял, напряженно думая, стукнул Роговцев или нет. Наконец вохровец исчез за прибрежным кустарником, и он с трудом вытащил Олечку из воды — та вся посинела от холода и, мелко стуча зубами, не могла вымолвить ни слова. Дрожащими руками отец торопливо вытирал ее грубой мешковиной, тер худенькие плечики, впалую грудку. Надо было переодеть ее в сухое, и он снял с себя свитку, укутал дочку. Пришел Кузнецов, глянул, все понял и сбросил ватник — на, укрой! Спасибо ему, укрыл. Потом Кравец вскипятил воду, и он поил ее кипятком — казалось, как-то отогрел девочку.

На ночь положил на обычном их месте — за будкой, на влажном слежавшемся тряпье, закутал в мешковину и бригадирский ватник. Она согрелась и уснула, и он, сидя рядом, думал: может, и обойдется. Но не обошлось. Под утро начался жар, запылала дочка, просила пить, жаловалась, что болит головка. Он поил ее теплой водой, ничего другого у них не нашлось — ни лекарства, ни какой-либо травы. Утром слегка задремала, но во сне вся горела, а ему нужно было заступать за стернового. «Впереди, — сказал бригадир, — самый трудный участок реки, всем надо глядеть в оба». Но как ни глядели, все же посадили крайний плот на камни, едва сдернули его к обеду. За эти часы он сумел выкроить несколько минут, чтобы наведаться за будку, и у него всякий раз недобро сжималось сердце — Олечке было плохо. Как на беду, по обе стороны реки проплывали пустые таежные берега, тянулись дикие откосы, и над ними высился дремучий лес. Человеческого жилья нигде не было видно. Бригадир видел его горе и, похоже, сочувствуя ему, сказал: «В конце недели приедем в Мезу, там есть амбулатория, может, снесем туда девочку». Как избавления Хведор ждал, когда появится эта Меза, ждал два дня и две ночи, ни на минуту не сомкнул глаз, не прилег. То ворочал стерном или багром, то бегал по шатким плотам к будке. Олечке становилось все хуже. На третий день она уже не узнавала его, только просила отогнать птиц, и он удивился: каких птиц? Потом понял: она бредит. На следующую ночь умолкла, совсем успокоилась и тихо покинула этот мир. Как светлая маленькая птичка, навсегда отлетела в небытие ее чистая детская душа.

До полудня она лежала все там же, на тряпье за будкой, и они не знали, что делать. Наконец брига-

дир, выломав из пола будки три доски, велел Кравцу сколотить гроб. Тот и правда сколотил — небольшой продолговатый ящик, в который положили остывшее тело Олечки. Ну а где хоронить? Кругом вода, плоты не пристаю́т к берегу — что будешь делать? И бригадир надумал немного подать задний плот к мели на повороте (совсем остановить эту громадину было невозможно) и по отмели снести гробик на берег. Хведор спрыгнул с плота, ему передали гробик, и он, стоя по грудь в воде, принял его. Пока выбирался на сушу, несколько раз окунулся в воду, едва живой вскарабкался на обрыв и огляделся. Всюду стеной стоял лес — ели и пихты. Человеческого жилья по-прежнему нигде не видать. В одном месте на обрыве зияла глубокая промоина, и рядом с ней образовался ровный голый мысок. На этот мысок он перенес гробик и принялся копать могилу. Рыл каменистую землю́ долго и трудно, не сдерживаясь, дал волю слезам. Жизнь отняла у него последнюю радость, единственное его утешение, и Хведор думал: чего еще ждать от нее, что она может отнять еще? После всего, что с ним приключилось, собственная жизнь потеряла всякую цену, он не дорожил ею, она стала обузой. Но что было делать? Повеситься? Утопиться? Он мог бы тогда бежать, но не хотел подводить бригадира и, наспех закопав дочку, берегом бросился вниз по реке.

Поздно вечером догнал плоты и долго еще не мог глядеть на Роговцева, содрогаясь при одном только звуке его голоса. И не мог понять, как это другие, и бригадир Кузнецов тоже, держат себя с этим человеком так, будто у них ничего не случилось. Или они ничего не понимали? Или, может, боялись его? Или еще что? Но Хведору все же сочувствовали. Кравец, тихо охая, качал головой. Бригадир же упорно молчал, казалось, ни о чем другом и не думая, кроме своих плотов. Когда наконец пришли в Котлас и сбыли на лесной бирже свой караван, бригадир вроде смягчился, стал разговорчивее. Однажды воротясь вечером в их хибарку, незаметно кивнул Хведору и вывел его за угол складского строения. Там никого не было, и он тихо спросил: «Справка нужна?» — «Какая справка?» — не понял Хведор. «Как какая — держи! — зло бросил Кузнецов, оглянувшись, и сунул ему в руки сложенный квадратик бумажки. — Берег для себя, но вижу, тебе в самый раз будет», — добрее закончил он.

Хведор взял справку на имя какого-то Зайцева Андрея Фомича, которая и правда вскоре ему пригодилась. Он был бы от души благодарен бригадиру, если бы не та цена, которую он за нее заплатил. Эта непомерная цена мешала его благодарности, и он порой думал, что в сравнении с загубленной детской душой все остальное ровным счетом ничего не стоит.

В разрывах туч над полем холодно и ярко светила луна, косо бросала на могилы изломанные тени крестов. Поодаль же, под соснами, лежал непроницаемый мрак, широкой тенью достигавший кладбищенского края над выгоном. Но поблизости все было отчетливо видно — каждый крест и каждый могильный холмик. И только когда луна опять скрывалась за тучей, все вокруг снова тонуло в темени; Хведор тогда

как бы закрывал глаза и незряче стоял посреди могил. Вообще ему тут было покойно и радостно, он словно обретал оборванную общность с людьми и вел с ними молчаливый разговор обо всем — рассуждал, спрашивал, жаловался. Жаль, что не получал ответа, но он уже привык не получать ответа на свои немые вопросы, будто оглохнув за годы нелепых скитаний. В сонной задумчивости бродя по кладбищу, наткнулся на свежую могилу — на склоне, ближе к пригорку с соснами. Даже ночью бросались в глаза ухоженность и аккуратность этой любовно обложенной дерном могилки, обсыпанной вокруг свежим чистым песочком, в лунном освещении казавшимся совсем белым. Здесь же стояли два восьмиконечных креста — большой и перед ним поменьше, оба старательно выкрашенные белой краской. Рядом приткнулась маленькая, словно игрушечная скамеечка, на которую и опустился Хведор. Кто здесь похоронен, он не мог догадаться. Но, надо думать, не старик, не старуха — за могилами стариков так не смотрят. Может, это жена постаралась для любимого мужа? Однако баба вряд ли бы сделала все так мастеровито и добротнo. Тогда муж для жены? А скорее всего родители для своего дитяти — это, пожалуй, самая верная из всех догадок. Но нигде не было никакой надписи — безымянная могила, навек прописанная только в сердцах, близких покойному.

А у его Олечки, видно, уже не сохранилось и холмика...

Длилась тихая лунная ночь. Под утро на кладбище стало холодно, похоже, повернуло на заморозки, думал Хведор, понуро сидя возле неизвестной чужой могилки. Ему не хотелось уходить отсюда — как ни в каком другом месте он тут чувствовал себя почти в безопасности, тут ему было спокойно. Наверно, уже под утро закатилась-пропала луна, вокруг стало темно, как в склепе. К ночной тьме Хведор, однако, привык давно, тьма его не пугала. И он сидел, припоминал, думал. Жевал кислые клюквины, экономно выбирая из кармана по две-три ягоды. Незаметно для себя дремал. Как всегда, ночью стал докучать холод. К холоду он не мог привыкнуть, особенно под старость, на дрянных харчах, — страдал от него на войне, в ссылке, а теперь вот и дома. Видно, потому, что за жизнь ему довелось намерзнуться как никому другому: не умел согреваться, как другие, хлопывая себя руками, приседая и топая. На холоде он терял свою подвижность и делался как деревянный, весь напрягался, сжимался — терпел. Так же как терпел голод, унижение, отчаяние. Немало лет все его усилия были направлены только на одно — перетерпеть. Он не взрывался, как некоторые, когда, казалось, терпеть невозможно, не возмущался скверной кормежкой, непосильной работой, людской несправедливостью — стискивал зубы, когда те еще были у него, — и терпел. Пожалуй, не было на свете такой каторги, которую бы он не научился претерпевать молча. И только одно было для него нестерпимым — тоска по родному краю, лесу, невзрачным лесным перелескам. Тут уж он не мог превозмочь себя: вся натура его всему вопреки рвалась домой, сперва только в мыслях, а потом вот и

на деле. В первый раз не удалось, не повезло во второй. Зато достиг своего с третьего раза и теперь хотел, чтоб был покой на душе. Так что ему холод!

Пожалуй, надо было уходить в лес, чтобы утром не попасться кому на глаза. Однако, разморенный дремотой, он медлил, тянул время, не спеша оставлять темное предутреннее кладбище. Спустя какое-то время заметил, что вокруг стало светлее, проступили из мрака сосны, ближние могилы, кресты, и он понял: светает. Краешек неба над лесом уже прояснился первым зачином дня. Хведор поднялся со скамейки. Появилась сумасбродная мысль именно сейчас, в самую рань, пока не проснулась деревня, тихо пройти по улице — кто знает, может, в последний раз, больше уж не придется. А теперь, может, его не заметят.

Узкой дорожкой между могил прошел через поредевшую тьму под соснами и спустился на деревенскую улицу. Стрехи домов, вершины уличных деревьев, садов только еще выплывали из мрака, улицы и дворы лежали в сумерках, никли в предутреннем сонном покое деревенские хаты; серые сумерки ютились под их обвислыми стрехами, меж хлевов и дворовых строений. Хведор тихонько прошел до середины деревни. На кольях ограды утренний ветерок трепал пеструю с красными полосками тряпку, и Хведор подумал: однако быстро светает, похоже, он припозднился. Прибавив шаг, он шел обочиной улицы, мягко шурша в траве постоломи, с настороженной жадностью оглядываясь по сторонам — хотелось как можно больше увидеть и узнать. И вдруг его взгляд в недоумении застыл на неподвижном женском лице за тыном; устремленные на него глаза тоже округлились в немом удивленном испуге. Выражение, какое — и не поймешь, сразило его внезапной догадкой: Любка! И он остановился. Рядом, в двух шагах, была калитка, он резко толкнул ее от себя, не зная зачем, и та отворилась. Женщина секунду молча смотрела на него — не понять, узнала или нет, — сдавленно вскрикнула и бросилась к хате. Онемев от испуга, он стоял перед калиткой, пока не услышал, как стукнула дверь в хату, тут же гроыхнул железный засов.

Боясь, что сейчас выскочат на крыльцо или увидят его в окно, Хведор вбежал во двор и по росистой свекольной ботве огорода пустился в рассветное поле. Никто его не догонял и даже не окликнул сзади. Все в нем мелко дрожало от неожиданной встречи с Любкой, с которой они вместе росли в деревне, работали рядом на отцовских наделах, в которую он даже влюблен был перед призывом на военную службу.

И обидно было ему, и горько... Должно быть, испугалась женщина и едва не погубила его. А может, и не узнала, приняла за ночного вора, грабителя? И не удивительно — разве узнал бы себя он сам? Что в нем осталось от прежнего наивного молчаливого Хведора Ровбы? Теперь он — больше привидение, чем человек, ночной бестелесный призрак, от которого в ужасе шарахаются люди, место которому только с волками в лесу!..

Глава четвертая

РАДОСТЬ ЗЕМЛИ

Когда рассвело, он уже был в лесу, растерянно брел истоптанной скотом стезжкой, приглядываясь, где бы приткнуться на дневку. Наверно, сюда снова пригонят скот — места ему тут не будет. А где тогда будет? Конечно, подальше от жилья и дюдей, поля и сенокосов. Значит, опять тащиться на вырубку или в дальний и мрачный ельник, на болотные мшаники. Поразмыслив, все же решил: лучше — на вырубку. Там, правда, опаснее, чем в ельнике, зато в той стороне картофель, надо наведаться. Как всегда, с утра засосало под ложечкой, хотелось есть. Клюкву он почти всю съел ночью, клюква плохо утоляла голод, вот пить после нее не хотелось. Надо идти за картошкой.

В эту раннюю пору, наверно, можно было не бояться случайной встречи в лесу, и он версту или больше шел хорошо утоптанной стезжкой, замысловато петлявшей в молодом березняке. Стежка свернула в сторону зимних делянок, он пошел к Долгому оврагу. Миновав перелесок с редкими елями, устало поднялся по пологому склону вверх. В лесу уже развиднелось, светло как днем; вокруг тихо дремали ели, не шевелились ни один листок на тронутых желтизной березах. Кажется, погода установилась, скоро, наверно, начнет подмораживать. Тогда враз почернеет ольха, золотом засветятся березы, дружно зашелестит листопад. Пройдет еще время — и лиственный лес станет сквозным для взгляда, все живое в нем будет далеко видно. Тогда ему станет худо... Но Хведору не хотелось думать о том, что будет, он жил одним днем, дальше ближайшего вечера он не заглядывал. Вечером, конечно, будет поспокойнее, а днем держи ухо востро.

Кажется, в том самом месте, где и в первый раз, он осторожно спустился кустарником в широкий провал оврага, напился из ручья, умыл лицо и руки. Поднимался на противоположный склон долго, останавливаясь и отдыхая, не впервые чувствуя, как убавилось сил. Совсем недавно, в дороге, слабости не замечал, должно быть, им двигала великая сила цели. А тут... цель — позади. За долгие дни скитаний ослаб без хлеба, ягодами сыт не будешь. Так что же — снова идти в деревню, просить хлеба краюшку? Чем это кончится? Тревожила недавняя встреча с Любкой — не раззвонила бы по селу. А может, и не узнала, раз закричала так жутко?..

Когда выбрался из оврага, долго не мог отдышаться. Потом углубился в лес, нашел вроде бы место — между двумя кустами орешника, сомкнувшимися верхушками. Прежде чем лечь, обшарил со всех сторон ветки — нет, на его беду, орех тут не уродился, не разживешься. Правда, на полянках в траве попадались грибы — сыроежки и волнушки, — изредка выглядывали красные шапочки мухоморов, и он подумал, что скоро, видно, дойдет очередь до настоящих грибов. Но больше его мысли занимала картошка, пока она еще в поле.

С картошкой у него был связан один малоприятный случай в германском плену — теперь

вспоминать о нем. Но иногда вспоминалось, наверно, потому, что горькое и смешное в пережитом всегда рядом. Первые полгода плена Ровба просто доходил на вареной брюкве, которой их впроголодь кормили на чугунолитейном заводе в Руре. Потом судьба смиловилась, и он попал к бауэру. Это был пожилой немец по имени Еган, два сына у него воевали на русском фронте, дома оставались невестка и два внука-подростка. Земли же у Егана было гектаров двадцать, и, чтобы обрабатывать ее, бауэр взял шестерых батраков из числа русских пленных, солдат генерала Самсонова. В общем, у бауэра Хведору было неплохо, кормили по-человечески, хотя работать заставляли помногу, без выходных и праздников. И они работали как черти, как волы, управляясь со всеми работами в поле, на гумне и даже по дому. У Егана был заведен твердый, словно в казарме, порядок, за которым следил сам хозяин усадьбы, служивший когда-то фельдфебелем, о чем он без конца напоминал пленным. А на поле командовала невестка. Она на ладном буланом жеребчике носилась по полям, высматривая, где что не так, кого наказать, а кого похвалить. Хозяин заботился о них и воспитывал весьма своеобразно, видно, на свой, фельдфебельский, лад. Как-то оштрафовал кухарку — переложил мяса в котел с супом, за недобросовестность в работе лишил миттага (обеда), позавтракал утром — и хватит с тебя. Однажды, когда пленный туляк Белошеев пожаловался хозяину, что другой пленный украл у него портсигар, герр Еган, особенно не вникая в дело, наказал обоих. Он приказал батракам сцепить левые руки, как при рукопожатии, а правой рукой шлепать другого по ушам, приговаривая: «Гутен морген — гутен таг». Все батраки, а также кухарка, дети и хозяин с невесткой сидели на крыльце и глядели. Поначалу было даже забавно, как двое русских вроде бы лениво, вполсилы тузили друг друга, но очень скоро их пришлось разнимать, потому что разошлись чуть не до крови.

В пять утра ежедневно они вставали по звонку дежурного, тщательно застилали одеялами свои топчаны, пили кофе с повидлом и хлебом и строились на работу. В обед им давали по миске супа, кашу с куском мяса, хлеба полагалось по фунту на человека. Спали на чистом белье, которое старая кухарка меняла каждую субботу, по субботам же мылись под теплым душем в пристройке. Белошеев, с которым подружился Хведор, не мог нарадоваться на свою военную судьбу, говорил, что дома не спал в такой чистоте и не ел так сытно, как в этом плену. А работа, что ж, — к крестьянской работе им не привыкать. И пожалуй, все, в общем, было бы неплохо, если бы не Руди, четырнадцатилетний внук старого Егана.

Этот гаденыш Руди, наверно, не помышлял ни о чем больше, как только устроить какую-нибудь пакость русским. То он подопрет вилами дверь в уборной, когда кто-нибудь из них займет ее, то спрячет череседельник, когда надо запрягать лошадь, то подставит под хвост кобыле кувшин из-под кваса. Однажды он тайком вынул шкворень из груженной картофелем фуры, и, когда Хведор тронулся с места, фура свалилась с передка и картошка рассыпалась. Пока Хведор,

чертыхаясь, собирал картошку, этот Руди нагло ржал в огороде. Хведор вышел из себя и огрел его кнутом через изгородь, приладил фуру и, ничего никому не сказав, уехал в поле. Вечером, возвратясь во двор, увидел на крыльце старого хозяина, покрасневшую от гнева Герду и этого гаденыша Руди с кровавым шрамом через всю щеку. Старый Еган тут же учинил следствие. Хведор пытался оправдаться, но его никто не слушал. Невестка что-то гергекала про гауптвахту, свекор же сказал, что гауптвахты не будет. Он не может допустить, чтобы в страдную пору его работник сидел в кутузке на дармовых харчах или лежал на топчане с поротой розгами задницей. Он накажет его позором: завтра Фэдэр отправится на работу без штанов («венигер альс хозе»).

Сперва Хведор не понял: что за чудное наказание — без штанов? В одних подштаниках, что ли? Но оказалось, что не в подштаниках, а вовсе с неприкрытой нижней частью тела. Было нехолодно, пригревало весеннее солнце, но страданию Хведора не было предела. Все время он тянул и одергивал недлинный подол рубахи, тщетно стараясь прикрыть свой мужской срам, но прикрыть было невозможно — надо работать, нагружать фуры картошкой, таскать коши в поле. А кругом были люди: немцы и немки, их дети, подростки, девчата — все с хохотом или ошалело смотрели на него, а он чуть не выл от обиды. Он едва дождался вечера того бесконечного дня и, добравшись до своего закутка, без ужина залез под одеяло. Какое это счастье — чувствовать, что твое тело скрыто от чужих глаз! Ему шел тогда тридцать первый год, он был женат и думал, что худшего унижения нельзя и придумать. Но прошло время, посыпались другие унижения, в сравнении с которыми изощренная выдумка герра Егана казалась нелепой шуткой — не больше.

Глотая голодную слюну, Хведор скрючился под кустами на реденькой мелкой траве, втянул голову в мятый-перемятый ворот, сунул руки за пазуху и так лежал. Глаза порой закрывал, не очень опасаясь что-нибудь прозевать, — из-под кустов и так не много увидишь. Зато его слух, как всегда, был обостренно чуток. Даже во сне Хведор прислушивался, иначе как еще обезопасить себя в таком положении. Деревья слегка пошумливали совсем близко, но этот шум не нарушал привычной для Хведора лесной тишины; порой вспархивала в кустах мелкая птица, но и она не тревожила его покой. Постепенно и незаметно для себя он словно замкнулся от этого леса, выскользнул из своего времени, будто засыпая, увидел себя со стороны и, может, впервые осознал всю безысходность своего положения. Он увидел себя словно извне и невольно вздрогнул в полусонном удивлении — что с ним? В самом деле, почему он неприкаянно валялся здесь, в двух верстах от места, где впервые увидел свет, где прожил взрослую свою жизнь, где родились его дети? Почему он стал презренным для всех чужаком, ненавистным изгоем, кто в том повинен? Он сам или кто другой? А может, никто? Но как же тогда все это стало возможно? Чего ради надо было, получив землю, потерять все, сделаться изгнанником, беглым каторжником, человеком без прав, вне закона? И от-

куда все началось? Сколько он ни думал о том — как и с чего началось, — вразумительного ответа найти не мог. Наверно, потому, что началось все незаметно, нелепо и неожиданно, а обернулось именно тем, чем обернулось. Мог ли он предвидеть все в тот зимний морозный вечер, когда сидел в сельсоветской хате и председатель Сокур вынес на обсуждение головоломный вопрос: на кого распределить три твердых задания, которые он привез из райисполкома? Нелегкое это было дело для членов сельского Совета, в состав которого входил тогда и Ровба. В те годы он числился середняком — у него было двенадцать гектаров земли. Было в деревне несколько хозяйств побогаче, у некоторых было по четырнадцать и пятнадцать гектаров. Но что это были за гектары? Змитрок Бедута, к примеру, имел шестнадцать гектаров, но оставался бедняк бедняком, потому что работать на земле было некому: двое сыновей не вернулись с войны, сам был старый и немощный. Его надел в дальней пойме у реки за время войны, революции и гражданской войны сплошь покрылся кустарником и только на бумаге числился пашней. Но где-то все-таки числился, и Змитрок первым в деревне получил квиток на твердое кулацкое задание. Хведор же не допускал и мысли, что его когда-либо может постигнуть такая же судьба. Хоть и жил вроде не хуже других, но какой он кулак? Одна лошадь, две коровы, овцы, кабанчик — считай, как у всех в Недолище. Правда, у него были гуси, плавали в пруду, где огороды кончались. Тек ручей из болотца, как-то весной они с сыном загатили русло возле мостика, натекла неглубокая лужа, так и осталась. Но надо думать, не из-за гусей же его зачислили в кулаки и тем сгубили жизнь.

Сгубила жизнь молотилка.

Проклятая молотилка, зачем он с нею связался!.. Молотил бы, как прежде, цепами, не так уж много было тогда жита, чтобы за зиму не обмолотить его на току в три цепа. Так нет, захотелось, чтоб культурно, чтоб молотилкой...

Мысль о молотилке подал ему сын Миколка. В ту пору это был уже бойкий и рослый парень, осенью ждал призыва в Красную Армию и ходил в секретарях местной комсомольской ячейки. Когда он стал секретарить, в хате появились газеты и брошюры, кое-какие интересные журналы. «Безбожник», к примеру. Обычно сын весь день был занят делами, а читал ночью при лампе и назавтра утром самое интересное подсовывал батеньке — то статью про налог и самообложение в «Белорусской вёске», то выступление товарища Сталина насчет оппозиции, то брошюру наркома Прищепова о культурном ведении сельского хозяйства. Хведор читал, не все понимая, но главное все же схватывал. Да и сам видел: жили действительно плохо, бедно, малокультурно, хозяйство вели неправильно. А как вести правильно? Наверно, чтобы правильно вести хозяйство, одних знаний мало, нужны деньги, инвентарь, удобрения. Именно чтобы больше получить удобрений для своих гектаров, он завел вторую корову. Вырастил телушку, хотя молока для семейства и от одной было вдоволь. Года за четыре до того, может, самый первый в деревне купил в Полоцке новенький фаб-

ричный плуг, окрашенный в приятный васильковый цвет, с точеными дубовыми ручками. Справный оказался плужок, одно удовольствие было пахать им, даже соседи просили попробовать. Потом такие плуги купили еще несколько мужиков. Плуги всем нравились.

Как-то поздним осенним вечером приходит домой Миколка. Усталый, голодный, по колено в грязи, оказывается, был на каком-то важном совещании в районе. Мать скорее миску на стол, он немного поел и говорит: «Батенька, давай купим молотилку. Есть такая возможность — через потребкооперацию. Плата в рассрочку». Хведор ответил не сразу, подумал. Конечно, совсем бы не худо молотилку, он уже видел такую в соседней деревне, там несколько хозяйств сложились и купили. Говорили, хорошо молотит, очень довольны были мужики. И лучше, чем цепами, и быстрее. Однако... Будто чуяло его сердце, чем это может обернуться. Он уже знал по опыту, что новое и небывалое в крестьянской жизни часто соседствует с дуростью или обманом, и надо хорошо подумать, чтобы не попасть впросак. Так он и сказал сыну, а тот в ответ засмеялся: какой же обман от молотилки? За неделю все обмолотит, не придется всю зиму цепами махать. Оно так, думал Хведор, да все молчал, сомневался. Утром, когда Миколка побежал по своим комсомольским делам, осторожно посоветовался с Ганулей, и тогда порешили: купить. Пока не перехватил кто другой из чужой деревни.

Молотилку приволокли через день после Покрова. Помог шурин Томаш, долго налаживали под поветью привод с деревянными дышлами и железной зубчатой передачей. Отложив свои комсомольские дела, помогал и Миколка, который тоже кое-что понимал в новой крестьянской технике. Наконец все наладили и опробовали машину. Ну, конечно, никакого сравнения с цепами — и быстро, и намолот другой. Правда, народу требовалось больше, чем на току: развязывать перевясла, подавать на стол, затем — машинист, самый главный человек при молотилке, двое — отгребать зерно и убирать солому. И еще погонять коней по кругу. Человек шесть, не меньше, требовала для себя та молотилка. Да все оправдывалось. Молотили толокой, хозяйствами двумя или тремя сразу, как когда получалось. Хведор никому не отказывал, подбирались кто с кем хотел, а платили кто сколько мог. В зависимости от намолота, конечно. Все по уговору, разве он эксплуататор для своих сельчан? Впрочем, он готов был молотить и даром, если бы не нуждался в деньгах, — все же молотилка стоила недешево и, хотя взяли ее в кредит, плату следовало вносить каждый квартал. До Рождества обмолотились все соседи и некоторые из его родни. Даже привозили из соседних сел. Всем молотил Ровба.

Недолго, однако, прогрохотала на току его красная молотилочка. В начале следующей осени пришел тот самый сельсоветский председатель Сокур, с ним еще какой-то усатый хлыщ из района и опечатали ток. Оказывается, Ровба допустил эксплуатацию, нетрудовой доход. «А как же теперь? Что будет?» — спрашивал Хведор. «Что будет, то и будет», — туманно ответил усатый, застегивая потертый портфельчик. Оба, не

оглядываясь, пошли со двора, а он остался у ворот, уже чувствуя, что это — не потеря молотилки. Это — начало много худшей беды, когтистым вороном закружилась она над его хутором. К тому времени Миколки уже не было дома, месяца два как призвали на военную службу, отправили на дальневосточную границу. Прислал оттуда первое письмо — в восторге от службы «в непосредственном соприкосновении с японскими самураями». Хведор скупно написал о здоровье, и все. О молотилке ни слова. Пусть сын служит спокойно.

А в Недолище невеселые дела заварились. Нашлись завистники вроде Зыркаша, который написал на него в Полоцк — мол, обирает крестьян. Но разве он обирал? Он даже не назначал платы. Впрочем, его ни о чем не спрашивали, только, распределяя твердый налог, вспомнили молотилку, и Сокур сказал, что будет по справедливости обложить твердым Ровбу, который на молотьбе кое-что заработал. Хведор не знал, как ответить: коротко он не умел, а долго объяснять не было возможности. И вышло так, что заработал Ровба или нет, но в деревне другой молотилки не было, и твердый налог вlepили ему по закону. Закона же в его защиту не предусматривалось.

Сколько раз потом Хведор твердил себе: на кой черт она сдалась ему, та молотилка? Лучше бы, как все, молотил цепами, имел бы какой-никакой хлеб и свой угол. И не было бы тех несчастий, какими с дьявольской выдумкой начала преследовать его жизнь.

Хотя, пожалуй, ничто уже не спасло бы, молотилка была только зацепкой. Так, если тяжело нагруженный воз станет крениться на косогоре, то, как ни хватайся за него, опрокинется, одна сторона перевесит. Молотилка была последним довеском, который опрокинул и без того накренившийся воз жизни Ровбы. Потому что его уже поместили, как помечают вредную скотину в стаде, какая-то особая мета появилась возле его фамилии в сельсовете или, может, в районе. Твердый налог — семьдесят пудов жита — он кое-как уплатил, хотя подчистую вымел хлебные сусеки в амбаре, вывез все до первого марта, как и предписывала бумага. Голодно стало на хуторе, нечем было засеять яровой клин — осталось пуда два ячменя да полмешка овса. И он не знал, то ли покупать остальное, то ли одолжить у кого. Но покупать нужны были деньги, а денег у него не было. Он ничего еще не придумал, как принесли новый, еще более твердый налог — восемьдесят пудов хлеба и сто рублей деньгами. Тогда он сказал себе: рехнулись они там, что ли, где он столько возьмет? Ходил в сельсовет, ездил в район к знакомому секретарю Теребильникову, который вместе с Миколой недавно работал в комсомоле, — жаловался, унижался, просил. Не помогло ничего, сказали: не уплатишь в срок, опишем хозяйство, «в том числе дворовые строения и скот». Погоревал пару дней и стал бегать по родственникам своим и жены, хоть сколько-нибудь зажиточным людям в своей и соседней деревнях — просить денег. Но все будто одеревенели, оглохли, никто не хотел понять его беды и никто ничего не дал. Конечно, в то время каждый думал о том, как выкрутиться самому, потому что бумажки с твердым налогом уже замелькали не только в Недолище, но и в

других селах. И он кинулся продавать молотилку, объявил о том по знакомым и даже на базаре в местечке. Да никто не покупал, не поинтересовался даже. Пришлось распродать скотину — обеих коров, всех овец и подсвинка. Конечно, был дурак, не понимал, что зря это, что не спасет его и квитанция о полном расчете. Ничто уже, видно, не могло спасти Ровбу, помеченного поганым и страшным словом «кулак».

В те заполошные дни, бегая в поисках денег, встретил в местечке Ноэма, старого еврея, с которым когда-то имел дело, заходил в его хатку под липой, когда покупал молотилку. Большой дружбы у них никогда не было, но Ноэм мог дать в долг и даже подождать, если долг не выпадало вернуть вовремя, или вместо денег принять яйца, масло, а то и пару мешков картошки. Всегда деловой и подвижный, Ноэм растерянно брел по местечковой улице, будто ничего не видя вокруг. Хведор деликатно поздоровался, они разговорились, и оказалось, что у Ноэма также серьезные нелады с властью. Когда Хведор пожаловался на свою беду, старый еврей взял его за пуговицу и сильно привлек к себе: «Я тебе скажу: бросай все, бери детей в охапку и утичай. Куда? Не важно куда — куда глаза глядят. Потом поздно будет... Это тебе говорит Ноэм! Я все бросил и вот с этой котомкой иду на станцию. Я тут больше не житель! Я беженец! Ты послушай меня, Хведор!»

Нет, Хведор тогда не послушался: как это все бросить? А земля, хозяйство? И куда податься? Здесь его корни, свои, деревенские, как он может уехать куда-то в бесприютный, неведомый свет?

Он прожил в Недолище еще месяцев десять. Безрадостной была эта жизнь, бесхлебица и пост надолго поселились в его обедневшей хате. Сам Хведор, сжав зубы, еще крепился, а Ганулька часто плакала, особенно по утрам, когда принималась готовить и надо было что-то засыпать в чугунок, покласть на сковородку. За молоком для Олечки ходили в деревню к Лёксе или к Гречихиным. Те сочувствовали, переживали его беду как свою и чем могли помогали. Помнится, как он наведалься тогда к Цыпрукову Змитеру, который третий год был должен ему тридцать рублей. Задолжал еще с молотьбы, а не отдавал, и Хведор долго не решался ему напомнить — как-то неловко, будто он требовал не свое, а чужое. Зря, однако, не послушал Ганульку, которая, глядя, как он собирается вечером к Змитеру, сказала: «Не ходи! Пусть они сгорят, те тридцать рублей, если он такой человек бессовестный». Должно быть, действительно бессовестный, даже наверняка так, думал Хведор, но ведь у самого невыкрутка, как не пойдешь? Пошел и, конечно же, получил дулю. Не было денег у Змитера или решил не отдавать кто его знает, только нехороший вышел у них разговор, и Хведор, воротясь домой, угрюмо молчал до утра. Оно, может, и ничего особенного, может, как-нибудь и обошлось бы без тех трех червонцев, если бы этот Змитер не состоял в активистах комбеда. Когда началось самое страшное — раскулачивание, — именно он и подсказал раскулачить Хведора Ровбу. Как лишенца и твердозаданца. Что ж, его послушались, Хведора сослали. Провели классовую борьбу в деревне, а тридцатка так и

осталась за Змитером. Пусть пользуется на здоровье. Хведору не жалко денег, только еще горше от того стало на белом свете.

Где-то в небе светило нежаркое осеннее солнце, вершины елей поодаль тихо светились в его косых лучах. На еловых ветках вверху грелись вороны, порой перелетая куда-то, может, на соседние ели. Внизу же, под орешником, стыла волглая тень, было зябко, и Хведор ворочался с боку на бок, чтобы не очень застужаться от земли. Он немного вздремнул час или больше, и снова стал донимать голод. Тянуло на поле за картошкой, и он сел под кустом, думал. Может, там все уже убрали, люди с поля ушли, что-нибудь да найдется. Какой-нибудь десяток не выбранных из земли картофелин — наверное, это не будет кражей. А если и кражей, то не очень большой, колхозники ему простят. Все же они взяли у него больше — чего стоит одна усадьба. Да и молотилка тоже. А ему понадобилось от них всего-навсего полведерка картошки. Не так уж и много.

Поднялся, побрел меж кустов орешника, забрался в заваленный хворостом молодой осинник, едва выбрался из него. Немного задержался в зарослях высокого, в рост человека, малинника, на ветвях которого кое-где чернели сухие, исклеванные птицей ягоды, и он собирал их по одной, ел. Ягоды противно хрустели на зубах и были безвкусными, утратив всю летнюю сладость. К концу дня вышел на опушку где-то в стороне от картофельного поля и понял, что чересчур взял вправо, краем леса следовало идти обратно. Прошел, должно быть, с версту или больше, когда услышал поблизости чей-то негромкий ворчливый голос. Затаившись в кустах, украдкой поглядел вперед. Невдалеке, удерживая на веревке черную корову, медленно брел по опушке сгорбленный, в рыжем армяке старик. Корову тянула за травой в кусты, и пастух временами беззлбно ворчал на нее. Хведор пристальнее всмотрелся из зарослей, стараясь угадать, не знакомый ли кто. Но нет, старик вроде был незнакомый, должно быть, из дальней деревни. Можно было обойти его лесом, но у Хведора вдруг появилась мысль: а если попросить хлеба? Если старик пасет корову с утра, то, возможно, прихватил в карман хлеба, может, и ему дал бы кусок. Очень хотелось хлеба.

Набравшись наконец решимости, он вылез из кустов на край озимого поля и пошел к пастуху. Тот уже мог услышать его шаги, но, занятый коровой, вроде не обращал на него внимания. Подойдя совсем близко, Хведор сдержанно поздоровался. На него глянули выцветшие глаза старика, лицо заросло, наверно, как и у Хведора, седой щетиной. Старик подслеповато морщился, разглядывая незнакомца и не отвечая, и Хведор поздоровался снова.

Да чую, чую, — сказал наконец пастух, шамкнув беззубым ртом. — День добрый, ну.

— Корову пасете?

— Корову, а кого же? Не коня же. Коня уже не пасу. Отпас.

— А сами откуда будете? — спросил Хведор и умолк. Это был важный для него вопрос: может дед его узнать или нет?

Да вон из Ушатов, — сказал пастух и впервые внимательно посмотрел на Хведора. Убогий вид его, однако, как показалось Хведору, не удивил пастуха — тот сам был одет не лучше. Хведор вздохнул с облегчением — в дальней деревне Ушаты его знали немногие.

— Может, закурить имеете? — неожиданно спросил Хведор и не узнал своего голоса, таким он стал жалким и немощным. Курить ему совсем не хотелось — он давно уже отвык от курева, но не хватило решимости сразу попросить хлеба.

Ёстика, — сказал старик и пошарил в глубоком кармане своего армяка. — Во самосеечки трошки имею. Только запалить нема чем.

— Запалить, может, найдем, — сказал Хведор, однако пожалев, что завел этот разговор о куреве: следовало беречь спички.

Они молча свернули из обрывка желтой газеты по небольшой сигарке, и Хведор дрожащими пальцами осторожно чиркнул спичкой. Так же осторожно прикурил сам, потом уже смелее дал прикурить старику.

— В колхозе будете? — спросил Хведор, когда они затянулись по разу. От этой затяжки у него закружилась голова, и он слегка пошатнулся. Старик опять с подозрением оглядел его.

— В калгасе, а как же... Теперь все в калгасе... А как же...

— А что — единоличников не осталось?

Единоличников? — прищурил один глаз пастух. — А сам адкуль будешь? Сдалёк?

— Да я... нездешний, соврал Хведор. — К родне иду.

Черная корова подалась за куст, сильно потянув веревку, увлекая за собой старика. Хведор пошел следом.

— А там, в вашей стороне, разве остались единоличники?

— Да нет, знаете...

— И у нас не осталось, сокрушенно заметил старик. Которые в калгас не хотели — вывезли. Которые посла и захотели — тожа раскулачили и выслали. Кулаки, подкулачники, — словно жалуясь, бормотал пастух, идя за коровой.

Ну а как же в колхозе? Богато живетесь?

— Богато! С вяликодн¹ до Ильи траву ели. От Ильи почали помалу бульбочку копать. Да что на Илью, какая там бульбочка! Орехи...

Вот как?

— Ну. А ты что, не знаешь? Или у вас там не было голода? — Старик уставился на него укоризненно-вопрошающим взглядом.

— Да как вам сказать? Был...

— Ну. Одного и спасенья, что коровка. Молочко! Да и сдать надо. Двести литров. И мясо и яйца. И шерсть и овечек. Зимой осмалили подсвинка. Так штрафу дали пятьдесят рублей.

— За подсвинка?

Ну. За шкуру. Шкуру ж надо сдавать. А у вас разве другие порядки?

¹ Первый день Пасхи.

— У нас? Да как вам сказать? Строго, однако, может, не так,— почти растерялся Хведор, не зная, как ему ответить. Он в самом деле не знал, как было в других местах — так же, как здесь, или по-другому. Его уклончивый ответ старик понял по-своему.

— Наверно, нигде так не погано, как в нашем раёне. Негодное киравництво¹, негодные люди. Разве так можно: за какую недоимку — остатнюю корову. А малые? Как им без молока? Помрут. Сколько их помёрло за лето. И старых и малых. Во, шатаюсь по лесу с этой. — Он выразительно дернул веревку. — Чтоб не отобрали. Бо займу платить нема чем. А в хате трое малых. Бяда!..

— Беда,— растерянно повторил Хведор. Ему еще ни с кем не пришлось беседовать о здешних порядках, чтобы узнать, как живут его земляки, старик был первым. И Хведору захотелось расспросить его подробнее, но было боязно — как бы старик не заподозрил чего. Все же он был тут чужой.

— Бяда, ну.

— Может, надо жаловаться? Бумагу кому написать? осторожно посоветовал Хведор.

Старик криво ухмыльнулся всем своим заросшим лицом.

Кому жаловаться? Начальникам? Так они же у нас как зверуги. Приедет который... Вунь этот Ровба: все матюгом да пагрозой. Сибирью пужает...

Хведор вдруг почувствовал, как закачалась под ним земля и косо поплыло куда-то поле.

— Ровба?

— Ну, Ровба. Теперь же он партийный сакратар. Малады, а будто какой тивун! От батьки отказался. Батьку его раскулачили в Недолище, так отказался, говорили, фамилию собирается поменять, чтоб, значит, ни духу...

Казалось Хведору, он медленно падал на землю, а та все плыла, уходила из-под ног. Он уже плохо слышал, что еще говорил старик, который, видно, жаловался на жизнь и порядки в районе. Хведор его не слышал. Он так был ошеломлен внезапной вестью о сыне, такой душевной болью поразила его эта новость, что он перестал ощущать себя. Больше ни о чем не мог спрашивать, только отрешенно смотрел на широкий простор озими, за которым на пригорке виднелись стрехи недалекой деревни. И молча побрел вдоль опушки. Хлеба он так и не попросил... Он уже не мог ничего просить, плелся, как побитый пес, и думал: зачем он притащился сюда, зачем заговорил с этим стариком? Лучше бы он ничего не знал ни о здешней жизни, ни о сыне. Жил бы, как прежде, своими бедами, которые годами носил в себе. Зачем прибавлять новые? Как их все уместить в исстрадавшейся душе, как с ними жить?..

Хотя какая там жизнь...

В полном безразличии к лесу, полю, забыв об осторожности и ни разу не оглянувшись, он отошел от старика с коровой подальше, углубился в лиственный лес и без сил опустился в редкий высокий папоротник. То, что он слышал про сына Миколку, показалось

несуразицей, не укладывалось в голове, и он все старался что-то понять. Ладно, отказался от раскулаченного отца, зачем же так — к людям? И еще менять фамилию? Чем ему не подходит фамилия? Что же тогда останется от прожитого? С чем жить дальше? Что он скажет своим детям, если они появятся на свет? Очень непросто было Хведору понять, как живет сын и как думает обо всем. Он не видел его семь лет. То, что он услышал о нем, было непонятно и немислимо.

В детстве Миколка был мягкий, послушный мальчишка, жалел животных. Как-то всю зиму держал под кроватью в клетке серую курочку, которая на дровяные сломала лапу. Преданно любил мать и очень переживал, когда она заболела рожей. Подростком, наверно, с такой же преданностью полюбил комсомол. Может, не столько сам комсомол, сколько ту горластую, суетную возню, которой с воодушевлением предавалась молодежь — в темных, занесенных снегом деревнях, где долгие месяцы было так одиноко и тоскливо. Все что-то выдумывали, заседали, обсуждали и принимали резолюции. В их комсомольской ячейке особенно активничали Миколка и его одноклассник Шурка, единственный сын беднячки вдовы Михалины. Однажды они приняли резолюцию — всем снять образа. Конечно, сочинить резолюцию было легче, чем ее выполнить, поэтому для начала решили снять хотя бы в родительских хатах. Это было проще, хотя и не всем сразу удалось, некоторые из родителей просто пригрозили выпороть комсомольцев-безбожников. Хведор же отнесся к намерению хлопцев спокойно — подумаешь, образа! Правда, висят в углу, никому не мешают, но и пользы от них тоже нет никакой. А вот Гануля заупрямилась, не хотела снимать ни за что, и Миколке пришлось ее уговаривать с Рождества до весны. Все же добился своего, к Благовещению поснимал образа и рушники с них, а на их место повесил в угол большой портрет Карла Маркса; рушников, однако, на портрет вешать не стал. С тех пор висел себе в углу бородастый человек, ни пользы от него, ни вреда. Миколка же был доволен, ну и ладно.

И тут под весну комсомольский секретарь случайно дознался, что в хате его друга Шурки остался один образ, висит в покути. Миколка собрал комиссию из трех человек, и они пошли к Шурке обследовать. Оказалось, так оно и есть: образ архангела Гавриила спокойно висит себе, где и висел всегда. Михалина, Шуркина мать, плачет, не дает снимать, и Шурка ничего поделать с ней не может, такой оказался мягкотелый комсомолец. Миколка повел себя круто. Думали, он тут же скинет образ, но он образ трогать не стал, а созвал комсомольское собрание и, невзирая на давнюю дружбу с Шуркой, поставил вопрос о пребывании его в комсомоле. Хведор несколько удивился неожиданному поступку сына и как-то вечером мягко упрекнул его. Сказал, что, исключив Шурку, не слишком ли сурово они обошлись со своим деревенским парнем. На это Миколка ответил с небывалой прежде суровостью в голосе: «Комсомол таких двурушников стирает в порошок!» — «Ну-ну!» — снисходительно буркнул Хведор и отправился по хозяйским делам. На те про-

¹ Руководство.

делки Миколки с образами он смотрел как на ребячье чудачество, успокаивал себя, что малый глупый, подрастет — поумнеет.

Выходит, однако, поумнел по-своему.

Немного в лесу успокоясь, Хведор стал рассуждать по-другому. А может, теперь так и надо? И дома и на поселении он достаточно насмотрелся на всяких людей и на всяких начальников, бывало, строгость их доходила до нелепой жестокости, и была одна цель — поиздеваться. Он уже понимал, что доброта, видно, там, где справедливость и правда. А где классовая борьба, непримиримость, где всякий, кто выше, что хочешь сделает с тем, кто ниже, — какая там доброта? Должно быть, вместе со временем и доброта канула в вечность, на смену ей пришло что-то другое — жестокое и беспощадное. Его умник Миколка, видно, давно понял это, и если теперь он стал таким нетерпимым, значит, стать таким надо было. Особенно если не по своей злой воле, а из государственного интереса. Значит, иначе нельзя. А что отрекся от отца... обидно, конечно, и больно — да что делать? Может, он отрекся потому, что отец для него как бы умер и никогда ни о чем не узнает. Оно и похоже на то — для сына он действительно умер, если за столько лет ни письма не прислал, ни весточки никакой не подал.

И все же Хведору было обидно и больно.

В лесу стало смеркаться, и он поднялся из папоротника. Тело набрякло многодневной усталостью, затекшие ноги казались толстыми, словно бревна (может, опухли). Превозмогая слабость, он опять медленно побрел сквозь чащу к опушке, затем вдоль озимого клина свернул к полю с картошкой.

Солнце тем временем уже сошло с небосклона — скрылось за лесом, но небо над полем еще было полно его закатного света, и в этом светлом вечернем небе привольно плыли куда-то пышные белые облака. Как и предвидел Хведор, картошку на поле уже убрали, ни женщин, ни лошадей нигде не было видно, только вдали горбился единственный укрытый соломой бурт. Ну да бурт ему без нужды. Он немного отошел от края загона, разгреб пальцами свежую борозду, покопался в рыхлой земле. Нет, тут ничего не осталось, видно, все подобрали. Прошел дальше, в двух-трех местах разгреб землю, нашел перерезанную плугом половину картофелины. Поднял голову, огляделся — кажется, поблизости никого не было. Он взял немного в сторону, где густо валялась в бороздах картофельная ботва, подумал, что, возможно, там кое-что осталось. Порылся в нескольких местах и нашел четыре картофелины. Конечно, можно было подойти к бурту, набрать из него в карманы, но ему не хотелось слишком далеко отрываться от леса. Опять же — воровать колхозное?

Воровать он не хотел, он мог только взять брошенное, ничье, испокон веков это не считалось грехом. Теперь тем более. Торопливо порывшись в земле, нашел еще три небольшие картофелины и оглянулся в испуге. От опушки в его сторону по полю широко шагали двое. Он все понял мгновенно, выпустил из рук картофелины и быстро припустил наискось к недалекому спасительному лесу. Те двое сразу свернули наперерез — один пожилой, в сапогах и ватнике, другой помо-

ложе, тонкий и длинноногий, в надвинутой на лоб кепке. Хведор понял, что его дело — дрянь, кажется, он попался. И он изо всех сил пустился к опушке, все время забирая в сторону, чтобы опередить преследователей. Его постолы то и дело цеплялись за разбросанную по земле картофельную ботву, он едва держался на ослабевших ногах; четыре картофелины в кармане колотили по бедру. Шаг его, однако, от усталости становился короче, и он испугался, что не уйдет — догонят. Но неужели те двое и впрямь будут его ловить, как зайца в поле, неужто не остановятся? В какой-то момент ему удалось немного опередить их, он уже подбегал к березовому мыску на опушке, уже появилась спасительная надежда — а вдруг? Похоже, те припозднились опередить его, и тогда сзади послышался злой крик:

— Стой, кулацкая морда! Стой, говорю!!

Хведор споткнулся от неожиданности: того, что его издали узнают, он не предвидел. Но если так кричат, то, конечно, узнали. Когда крикнули в третий раз, Хведор догадался, что это Змитер Цыпруков. Ах боже мой, не хватало еще попасть в руки этому злыдню, подумал Хведор. Охватившая его обида, однако, придавала сил, он рванулся с последней надеждой и, не оглядываясь, вбежал в березовый молодняк на опушке. В лесу он тоже бежал, правда, все медленнее перебирая ногами, потом немного прошел шатким усталым шагом и снова обессиленно трусил, стараясь подальше уйти от злосчастного поля. Его преследователи, кажется, в лес не сунулись, остались на опушке. И он долго еще брел редким низкорослым ельником, хрипло дыша и думая, что сегодня ему не повезло окончательно. Сегодня для него ни одного просвета за весь погожий солнечный день. Мало ему было узнать о сыне, так еще и Змитер... Но гляди-ка, выследил, почти захватил с поличным. Или он здесь сторож, или, может, какой начальник, если в рабочее время разгуливает по полям? Видно, все-таки бригадир, догадался Хведор, это скорее всего. Но Змитер Цыпруков бригадир — это даже смешно. Самый никудышный хозяин в деревне, у которого от бескормицы сдохла кобыла. За зиму съела соломенную стреху, и — не хватило. Тот самый Змитер, который за жизнь не научился сплести лапти, теперь работает здесь бригадиром, приумножает хозяйство. Правда, глотка у него всегда была крепкая, мог наорать на любого, это теперь, пожалуй, важнее всего. Как там, на поселении, так и тут, в колхозе, — наверное, одинаково...

Глава пятая

ОБЛАВА

Ночью поднялся ветер, лес застонал, глухо и тревожно загудели от напора ветра ели и сосны, нескончаемо лопотала мелкая листва берез, и Хведор обреченно ждал, когда польет дождь. В ту ночь он не пошел в деревню, он вообще больше не вылезал из леса, где давно уже обрел для себя убежище. Ненадеж-

ное, однако, убежище, но, видно, другого на этой земле для него не осталось. Всякий раз он выискивал для ночевки новое место, стараясь забраться подальше от людей, в самую глушь леса. Вечером, уходя от преследователей, уже в потемках упал на колючую землю в молодом ельнике и долго лежал без движения. Пробираться дальше, наверное, не имело смысла, дальше начиналось болото, а главное — уже не осталось сил. Немного отлежавшись, сел, разрезал на дольки и без аппетита сжевал свои четыре картофелины. Больше еды у него не было, и он просидел ночь в ельнике, думал.

«За что все это навалилось на меня? Разве я так грешен перед людьми или Богом? Разве я кого убил, ограбил или обесчестил кого?» Всегда он старался как лучше, упаси Бог, чтобы кого обидеть, повод дать для упреков. Уважительно относился к власти, от души был благодарен ей за дарованную землю, за ее щедрость к недавнему батраку. Да и как же иначе? Ведь он советскую власть считал своей кровной крестьянской властью. Бывало, на сходках некоторые жаловались: того нету, того мало, нету мануфактуры, гвоздей, не хватает керосина, не купить сахара. Он говорил нетерпеливым: подождите, не все сразу. Советская власть, она не обидит бедняка, потому что бедняк и рабочий и есть эта самая власть. Да разве он сам это выдумал? Об этом он читал в газетах, слышал на собраниях от представителей властей. И он верил. Он готов был поверить всякому, кто говорил о власти хорошее, потому что получил подтверждение ее самой большой правды, какая только может быть в жизни и имя которой — земля.

Кто же обманул его? И обманул так жестоко, безжалостно, на всю жизнь?

Впрочем, обман для него был не в новинку, к обману он тоже привык за жизнь. Случалось, обманывали соседи, родня, односельчане. Нередко обманывало начальство — и тут и на поселении. Обманывали товарищи по несчастью. Некоторым за их наглый обман он даже был благодарен.

...С севера обычно бежали весной, когда таял снег и просыпалась тайга. Хотя и скупа была весенняя тайга на пропитание, харчей никаких не имела (кроме разве ягод), но весной выше поднималось солнце, кончались морозы, убывала вода. А главное, начиналось время зеленой травы, дороги без следов — иди куда хочешь. В такую пору мало кто из ссыльных, разбросанных по лагерям и поселкам, не заболел мечтой о заветном — возвращении в родные места, где прожил жизнь и откуда был вырван силой. Однако тысячи километров тайги, бездорожье и безлюдье дали отвагу не каждому. Тем более что кроме отваги надобно было железное здоровье, звериная сила, какой-то запас съестного, а они к весне едва волочили ноги. И все-таки мечта звала, будоражила и опьяняла, а опьяневший человек, как известно, способен на разное. На разумное и на дурное — в зависимости от характера и обстоятельств.

Бежать из приречного леспромхоза было нетрудно — трудно было одолеть тайгу. Многих ловили поблизости — на реках и дорогах, других хватили за сотни километров — на городских вокзалах, пристанях, сни-

мали с крыш и тормозных площадок вагонов, отыскивали с собаками в штабелях пиломатериалов на железной дороге. Пока на руках у Хведора была больная жена и маленькая дочка, он и робкой мысли не допускал обрести свободу ценой разлуки с ними. Но потом, когда остался один... Лишь изредка думал об этом, чтобы тут же забыть. Решимости у него, конечно, не доставало, о сокровенных мечтах он никому не рассказывал. Он вообще был там молчалив и замкнут, своих людей рядом не оказалось, а с чужими надо было держаться осторожно — мало ли что! Да и не нравились многие — жесткие, крикливые, бесчестные. Многие открыто пренебрегали им; забитым, малограмотным белорусом, он видел это и не обижался. Действительно, чем он для них был? Кому он мог быть полезен? И он привык к своей незначительности, не приметности, в друзья никому не навязывался, к нему тоже никто особенно не лез с дружбой. И Хведор даже удивился, когда однажды на пару слов его позвал один человек.

В сырое туманное утро их бригада заготавливала бревна в запани — предстоял большой сплав, участок старательно готовился к нему. Хведор катал бревна сперва по лежакам на площадке, потом вкатывал наверх штабеля, когда к нему тихо подошел Угорь. Он был ссыльный, как и все они, но не из числа раскулаченных, а из какой-то другой категории. В ссылку он прибыл из Воркуты, там на шахтах отбывал срок по какому-то уголовному делу, выбился в начальники, да вскоре проштрафился. На участке держался с важностью, перед начальством не лебезил — знал себе цену. Порой даже вольничал: мог позволить лишнюю минуту на перекур, опоздать на развод, всегда имел свой табачок, и начальство не слишком к нему придиралось, вроде даже потворствовало ему. Наверно, знало за что.

Возле штабеля этот Угорь оглянулся, прислушался, поблизости никого не было, и тихо спросил: «Хочешь домой?» Хведор смешался, сразу не поняв, о чем это он, и Угорь кратко объяснил: «Есть возможность, будешь третьим, понял?» Мало что понимая, Хведор стоял молча, словно пришибленный. Конечно, домой он готов был лететь на крыльях, на брюхе ползти. Но как? Какая у них появилась возможность? Хотя, наверное, появилась, раз добрый человек предлагает. «Значит, лады? — спросил Угорь. — Завтра становись к крайнему штабелю».

На следующее утро Хведор так и сделал — стал на работу возле крайнего от леса штабеля. Сделать это было нетрудно: обычно рабочие избегали становиться на край площадки, куда катать бревна было и дальше и труднее, чем к средним штабелям. В этот раз Хведор храбро стал перед бригадиром и оказался в четверке, наряженной куда требовалось. Там же был и Угорь. С показным усердием они принялись катать толстые бревна. Но как только бригадир скрылся с глаз, Угорь кивнул Хведору и бочком-бочком подался с площадки. Хведор с замирающим сердцем бросился следом.

Бежали вроде удачно, их никто не задержал возле поселка, может, и не заметили даже. В ближнем распад-

ке к ним присоединился третий — одноглазый верзила по фамилии Скакун. Как понял Хведор, это был старый дружок Угря, и они в первый же день отмахали по тайге верст сорок. Обычно в тех местах ездили по замерзшей реке зимой или берегом реки летом, но теперь берегом не выпадало — на берегах всюду кише- ла вохра и милиция. И они подались кружным путем, по тайге. Угорь с дружкой припасли к побегу немного харчей: несколько килограммов муки, десятка три суха- рей, которые по очереди несли в проштемпелеванной казенной наволочке. В пути и на отдыхе всем распо- ряжался Угорь. Хведор был благодарен ему, отлично понимая, что Угорь мог выбрать другого, помоложе и посильнее. Похоже, от неожиданного доверия к себе он вырос в собственных глазах и старался во всем угождать Угрю — то подальше пронесет продукты, то подежурит у костерка, когда дружки позаснут рядом, всегда собирал для огня валежник, ходил за водой. Как-то возле ручья, в распадке, где они сушились после дождя, расчувствовавшийся Хведор поблагода- рил Угря за его доброту, и тот лишь хитро сощурился: «Я же сразу усек, что сильно домой хочешь». — «Спа- сибочка вам огромное, веж буду помнить...» — «Потом отблагодаришь, красненькими», — осклабился Угорь, но осклабился по-хорошему. Вообще с Хведором он держал себя как с ровней, может, чуть снисходительно, но, в общем, вполне по-товарищески.

Казалось, и в самом деле он был неплохой това- рищ — по справедливости делил на троих скудные их припасы, имея спички, сам по утрам разводил костерок и определял маршрут, в пути всегда шел впереди. В тайгу, как мог понять Хведор, он попал не впервые и отлично ориентировался в ее пугающих дебрях. Куда им предстояло идти, Угорь не говорил, и Хведор ни о чем не спрашивал, целиком полагаясь на знания и опыт товарища. Действительно, разве бы он в одиночку отмахал за неделю две сотни верст без дорог, по незнакомым лесам и увалам? Это потом, наученный горьким опытом, он стал кое-что понимать в непростых секретах побегов, а в тот свой первый побег был дурак дураком, как солдат-первогодок.

Попались они случайно и глупо, тут не было вины ни Угря, ни кого-то еще. Вечером возле холодной таежной речушки набрели на пустующую охотничью избушку, зашли, надеясь, чем-нибудь поживиться, но ничего пригодного не нашли. Ночевать там не решились, отошли за километр и уже в потемках, не разведя костерка, усталые, легли рядышком на мягком мху в ельнике. На рассвете их и подняли под дулами двух винтовок. Потом оказалось, что накануне возле избушки их заметил здешний охотник, сбегал по соседству за братом, и они вдвоем накрыли беглецов. Все произо- шло неожиданно, вдруг, будь у них чуть больше вре- мени, может, и выкрутились бы из этой беды. А так не успели они опомниться, как пришла подвода и их свя- занными отвезли на лесоучасток, оттуда — на пристань, в местную комендатуру вохра. Братья-охотники, навер- но, получили свое за свой неохотничий труд, а их положение стало хуже, чем до побега. Хведор сильно переживал неудачу, просто почернел лицом, все время молчал, даже отказался от хлеба, который вечером

бросили им в каталажку. С Угря сошла его обычная невозмутимость, и однажды он зло буркнул: «А тебе чего киснуть? Радоваться надо!» — «Как радовать- ся?» — не понял Хведор. «А так! Что кабаном не стал». — «Каким кабаном?» — не мог понять Хведор. «Не знаешь каким? Вот и радуйся, что не узнаешь».

Хведор, однако, так ничего и не понял. Какой кабан и какая радость? Только потом, когда попал в пекло похуже — на торфоразработки под Сыктывкаром, — разговорился как-то с ушлыми зеками, спросил, что значит кабан, и у него потемнело в глазах. Оказы- вается, так называли простака, которого, подбив на по- бег, потом съедали в тайге, когда кончались припасы. Это и был кабан.

А он все это время был благодарен Угрю. Он просто его полюбил — за доверие и доброту. Так забот- ливо опекал Угорь своего кабана. Когда Хведор узнал правду, он думал, что возненавидит своего спутника, но, странное дело, ненависти не получалось. Было иное чувство — что-то вроде сожаления. Та сокрушаю- щая неудача перевернула Хведора — он познал волю. Крохотный ее глоток не утолил жажды, но заронил надежду, и, куда бы потом ни забрасывало Хведора, в какие бы условия он ни попадал, он жадно присматри- вался к обстановке и людям, думал, прикидывал все с единственной целью — бежать.

Но вот он достиг того, к чему так стремился, пре- одолел невозможное — и теперь дома. А что дальше? Куда отсюда бежать? Или умереть голодной смертью в лесу?

А может, это ему наказание Божье? За образа, которые он молчаливо позволил Миколке вынести из хаты? Сперва Ганулька припрятала их за дымоходом на чердаке, но Миколка нашел, вытащил и разбил об угол амбара. Мать заплакала, а Хведор не знал, как к тому отнестись. Вроде и жаль было святых, с которыми прошла жизнь поколений, но опять же — если сын поступает так не по злобе, а по велению власти... В то время Хведор считал, что власть не может оши- баться, что в Москве или в Минске сидят умные, обра- зованные люди, которым доподлинно известно, есть Бог или нет и как с ним поступить в интересах народа. Он же, имея за плечами всего две зимы церков- ноприходской школы, в вопросах религии мало что смыслил и думал, что окончивший семь классов сын разбирался в ней больше.

Однако Бог покарал его, а не сына. Сына он награ- дил вроде.

А если покарает и сына?..

Время в лесу, наверно, перевалило за полночь, когда пошел дождь. Слякотную морось ветер волнами гнал по лесу, порой густо осыпая ельник, укрыться от ее мокроты здесь было негде. Надо было поискать старые ели, но в лесу царил непроницаемый мрак, и он никуда не пошел. В такую ночь добрые люди по лесу не ходят, уныло размышлял Хведор. Время от времени дождь за- тихал, переставал вроде, изрядно, однако, намочив тра- ву, еловые ветви, голову и плечи Хведора. А затем на- чинался снова. Хведор не поднимался с насиженного места и не ложился на мокрую землю, сидел сгорбив- шись, подрагивая от стужи. Было сыро, неудобно, но

он немного отошел душой — все-таки ночью, в дождь можно было не опасаться. С нарастающим беспокойством он ждал рассвета, не зная, куда податься днем, где добывать съестное. Да и вообще... Чувствовала его душа, что этот день принесет еще большие хлопоты. Как бы не принес беды...

Под утро дождь перестал. Ветер все не стихал, порой даже усиливался, стряхивая влагу с мокрых веток, и в лесу казалось, что дождь продолжается. Над вершинами деревьев невесть куда неслись серые тучи, небо так и не приподнялось над ельником — безрадостное небо ненастного осеннего дня. В этот рассветный час где-то поблизости, всполошив утреннюю тишину леса, начали кричать вороны. Смутная тревога исходила от их неумолчного крика, и Хведор, прислушиваясь, с раздражением думал: какого черта они расходились? Хотелось встать, пугнуть их, но не было сил для того, после несчастной ночи клонило в сон, и он сидел, погруженный в унылую полудрему. Мало-помалу рассвело, вблизи стало хорошо различимо сплетение еловых ветвей, сухое, торчащее из комлей сучье, мокрая, густо усыпанная хвоей земля. И вдруг поодаль в ельнике откуда-то появился заяц. Повертев туда-сюда ушастой головой, присел на задние лапы, передними старательно отер усатую мордочку. Хведора он не замечал вроде, и тот на минуту замер, чтобы не испугать серяка. Наверно, не узнав человека, заяц спокойно проскакал мимо и скрылся за можжевельником.

А вороны все надрывались вверху — преследовали кого или просто ссорились между собой? Должно быть, и у них нелады, думал Хведор, как и у людей. Хотя такая вражда, как у людей, вряд ли еще бывает на свете. Вороны подерутся, покричат и разлетятся, через минуту забыв о сваре. Человек же обид не забывает, а враждовать может всю жизнь. Лютое все же существо человек.

Может, так бы он и просидел весь день в ельнике, здесь было хотя неприятно и мокро, но, в общем, спокойно, если бы не голод. От голода болезненными спазмами сводило желудок, щемило под ложечкой, и он все ломал голову: где раздобыть поесть? Знал, в лесу ничего найти невозможно, разве что грибы. Грибов можно было насобирать, особенно на мшанике возле болота. Но сырыми грибы не съешь, а разводить костерок он уже не решался. И его мысли все чаще стали обращаться к деревне, к груше на краю леса. Ее подгнившие плоды, кажется, остались для него единственно доступной едой, ничего другого поблизости найти не удастся.

Он промок насквозь, пока выбрался из ельника, — каждая задетая им ветка осыпала его пригоршней холодных капель. В лесу было холодно, знобко. Но что делать — надо было терпеть. Не привыкать ему было сносить мокрядь и стужу, если бы научиться так же сносить еще и голод. Но одолеть чувство голода, видно, не дано никому: ни животному, ни человеку. Голод — жестокий господин надо всеми.

Хведор медленно пробирался лесом, выбирая голые, без подлеска места, обходя стороной мокрые заросли. Почему-то с недоумением подумал: какой же сегодня день? Он давно уже потерял счет дням и не отличал будней от воскресенья. Хотя что ему воскресенье? Не-

давнее воодушевление от встречи с родными местами безвозвратно минуло, ощущениями его все сильнее завладевало давящее предчувствие беды. Он еще не давал себе отчета почему — то ли вчера его сразила недобрая весть о сыне, то ли встревожила встреча на картофельном поле. Или еще что? А может, этот вороний гвалт, который все разносился в утреннем мокром лесу? Все-таки что-то не поделило меж собой воронье, думал Хведор, вслушиваясь в неясные звуки леса.

Его и в этот раз не подвел обострившийся за время лесных скитаний слух. Еще не дойдя до опушки, где росла груша, Хведор уловил неясные звуки поодаль, кто-то там был, и он насторожился, замедлил шаг. Сквозь кустарник уже виднелись зеленые пятна озими, столбы на дороге, серый, поросший бурьяном обмежек. Как раз на этом обмежке невдалеке от груши стояли два мужика: один, бережно сложив руки пригоршней, давал прикурить другому. Когда прикуривший поднял голову, Хведор узнал в нем Михалининого Шурку, исключенного из комсомола бывшего друга Миколки. Его напарник стоял к лесу спиной, и Хведор не мог разглядеть, кто это. Закурив, они оба повернулись в сторону, откуда доносился невнятный разговор, и Хведор из-за куста тоже посмотрел туда. Вдоль поля простирался длинный изгиб опушки, и на ней он увидел человек шесть мужиков, стоявших шагах в двадцати друг от друга. Переминаясь с ноги на ногу, все чего-то ждали. Конечно, это были его односельчане, двое пожилых и четверо помоложе. Он всех их знал. В ближнем Хведор узнал Михася Майстренка, усадьба которого была напротив Хведоровой запруды, и они раза два поругались из-за гусей, у инивших потраву на Михасевом огороде. В отдалении от Майстренка топтался на обмежке худой, постаревший, с белыми висками под черным околышем картуза Лёкса Савчик — в длинном армяке, с пастушьим кнутом под мышкой. Боже, вот и увиделись, тоскливо подумал Хведор. Но почему они тут стоят, кого ждут? И его осенило: они собрались ловить беглеца. Разошлись редкой цепью, как на войне или на зимней охоте на волка. Только на него пойдут без флажков. Потому что он не волк — он человек. С ним можно и попроще.

На ослабевших ногах Хведор потрусил в глубь леса. Все в нем дрожало от обиды, безысходности, предчувствия близкой беды. И ничего не поделаешь, ничего не скажешь в свое оправдание. Он мог только бежать, спастись, как зверь — не как человек. Человек не должен убегать от людей, потому что бегство — всегда унижение. Но, видно, кроме последнего унижения, ему ничего не осталось. Он — не человек.

В смешанном мелколесье пологого склона он повернул направо, в сторону большака и поймы, откуда с такой радостью прибежал три дня назад. Наверное, пока была такая возможность, надо было уходить из этого леса, лес для него теперь не убежище. Лес уже принадлежит им, и в лесу они постараются его поймать. Но нет, все-таки он им не дастся. Пока есть силы, он опередит их. Он не позволит им загнать себя туда, откуда с таким усилием вырвался. Туда он не вернется.

Хведор трудно бежал, почти не выбирал дороги, напрямую продрался через ольховую чащу, весь вымок

с головы до пят. Позади, однако, было тихо, вроде за ним еще не гнались, и он торопился успеть. Успеть выскочить из леса на пойму, там вдоль реки была чужая, заречного района территория, может, там о нем еще не проводали. Ему совсем уже мало оставалось пробежать лесом, а там с опушки откроется вид на широкую ложину и большак. Но он задыхался, совсем изнемог и едва дотащился до опушки. Прежде чем выйти из леса, бросил взгляд на ложбину, там никого не было, потом взглянул на хвойный пригорок и тут же осел на землю. Под соснами на большаке стояли машины — три грузовые полуторки, и от них в сторону леса врассыпную двигались люди — может, человек тридцать, если не больше. Впереди по отросшей отаве ложины решительно шагал высокий человек в распахнутом черном плаще, он что-то говорил остальным, широким жестом указывая на лес — возможно, подавал знак рассыпаться цепью.

Моментально все поняв, Хведор круто повернул и побежал назад в лес. Все-таки он имел маленький шанс на спасение, те только еще переходили ложину. Пока они поднимутся по склону, войдут в лес... Нет, он оторвется от них, он не даст им настигнуть себя. Только куда отсюда бежать — вот в чем загвоздка. Слева Недолище и цепь из его земляков, позади эти, из района. Все одеты в темное, не деревенское, значит, из района. Наверное, руководство и актив. Они позади. Справа от него ельник, а дальше — топи Боговизны, там не пройдешь. Так неужели выход для него впереди? Где поле картофельное и деревня, там он вчера встретил деда с коровой... Неужели там нет никого? Это было бы удачей, если бы только успеть добежать туда. Хорошо, что его не увидели — прежде увидел их он. Это обнадеживало. Только бы не подвели ноги. Бежать было трудно, донимала одышка, во рту набиралось горькой слюны, сплевывая, он не мог избавиться от ее горечи. Его плечи и грудь под тяжелой мокрой одеждой обливала горячий пот, вспотело лицо, он то и дело отирал его рукавом. Оглядываясь, то бежал, то шел шатким неуверенным шагом, постепенно удаляясь от большака и от деревни тоже. Но выдержать нужное направление в лесу было непросто, похоже, он слишком взял в сторону, вплотную приблизившись к Боговизне. Поняв это, повернул чуть влево, чтобы вырваться из леса к картофельному полю. Главное для него было выскочить из обхватывавших его клещей облавы, пока они еще не сомкнулись. Появилась надежда, что он как-нибудь опередит преследователей. От тех, что из района, он вроде бы оторвался, а деревенские, наверное, только еще входят в лес. А может, и не войдут — поджидают его на опушке. Только бы ему добежать до картофеля.

Но сил оставалось все меньше, спотыкаясь, он лихорадочно ковылял по мокрой траве подлеска. Все время оглядываясь — нет ли погони. Погони еще не видать, но сзади, от большака, уже доносились голоса — должно быть, там разошлись в широкую цепь. Голоса и выкрики становились громче, слышался лай. Но не вчерашней пастушечьей шавки, а, видно, пса покрупнее. Хведор побежал снова — тяжелой, обреченной трусцой, все время оглядываясь. Он весь был обращен к тому,

что происходит сзади. Наверное, он упустил момент, когда надо было глянуть вперед, и за кустом можжевельника едва не столкнулся с зайцем. Широкими прыжками тот сигал навстречу, но, увидев человека, отпрянул в сторону и бросился назад — туда, откуда бежал. Тоже нет покоя, коротко подумал Хведор и остановился. Там, где исчез заяц, раздался злой громкий окрик:

— Стой! Стрелять буду!

— Куда ты — стрелять! Это заяц...

И там засмеялись молодым беззаботным смехом.

Хведор настороженно вытянул шею — впереди в желтой листве подроста мелькнули две зеленые фуражки, кто-то тихо прикрикнул издали, и они исчезли. Хведор смекнул, что и туда путь ему перекрыт: видно, от картофельного поля шли пограничники, их застава находилась в двух километрах за лесом. Но почему пограничники? Разве он шпион, диверсант или нарушитель границы? Или он сбежал из тюрьмы, где сидел за преступление? Он пришел в свой родной край, где родился и вырос. Где родились и прожили свой век его предки. Так почему пограничники?

Выходит, однако, он хуже шпиона. Потому что того ловят одни пограничники, а его обложили три цепи загонщиков: кроме пограничников еще районный актив и деревенские. Вот это волк! Вот это лесная дичь! Кто когда видел такую?!

На его счастье, кажется, никто еще из этой облавы его не заметил — опасность он замечал первым. Покамест ему везло, но долго ли продлится это везение? Наверно, все же заметят, он же не лесовик-невидимка. Правда, он хорошо знал этот край Казенного леса, но ведь и они лес знали не хуже, особенно его деревенские, думал Хведор. Теперь он бежал неизвестно куда, кажется, потеряв цель и все больше забирая в четвертую сторону — туда, откуда не выйти. В четвертой стороне был тупик, болотный край — Боговизна. Там трясина и топи, летом туда не сунешься. Туда и зверь не ходит, не то что человек. До самых морозов там потоп и гибель.

Так куда же ему податься?

Он уже не бежал — едва тащился краем темного ельника, путаясь постолами в мягкой мокрой траве. И все прислушивался, стараясь понять, что происходит сзади, где всюду звучали голоса, слышался мощный голос собаки. Должно быть, цепи сошлись, упустив его. А может, они повернут обратно — к большаку и деревне, со слабой надеждой подумал Хведор и притаился за елью. Хоть бы дали отдышаться, а то горький давящий ком застрял в распаленной груди.

Отдышаться, однако, не дали.

Они уже были где-то поблизости, увидеть их ему мешали деревья. Впрочем, деревья скрывали и его тоже. Но вот он услышал оживленные выкрики, чей-то приглушенный голос: «Сюда, сюда — след!» — и понял, что ему от них не уйти. Их несколько десятков, мужиков и красноармейцев, они обложили лес с трех сторон. А он — один. Он вконец обессилел и не знает, куда бежать, где спастись. Наверно, он бессмысленно пробежал последние свои метры. Впереди в ельнике что-то замельтешило в траве — это все тот же заяц. Сперва убегал от красноармейцев, а теперь, видать, от него.

Но зачем — от него? Он сам был как заяц, может, еще и похуже. Потому что заяц, наверно, спасется...

«Люди, за что же вы так? — звучал в нем отчаянный вопль. — Что я вам сделал плохого? За молотилку? Так какое от нее зло? Она же вам пособляла. Или я много взял для себя? Я же все отдал вам — берите! Только за что же меня так? Одумайтесь, люди!..»

Никто, однако, и не думал одуматься — его гнали, как гонят волка на многолюдной охоте. А он все ждал, что кто-нибудь остановится, крикнет: «Постойте, братцы! Что же мы делаем?!»

Никто не остановился, не сказал, и его гнали дальше.

— Ровба, стой!

Ну вот наконец...

С первых шагов своего нелепого побега он днем и ночью ждал именно этого окрика, и все же он прозвучал внезапно и страшно. Хведор не сразу оглянулся: там, между елей, мелькали темные фигуры людей — свои или красноармейцы, он не разглядел даже. Главное он понял — его увидели. Но и бежать ему больше некуда, должно быть, его долгий маршрут неотвратно кончался. Невероятный бессмысленный маршрут — за тысячи верст на родную землю. Неласково же она встретила своего сына, родная его земля!.. Ну да Бог с ней, другого и быть не могло. Видно, такова судьба! Проклятая судьба, уготовила ему в такое время родиться крестьянином.

Кончился темный ельник, начиналась полоса мокрого болотного мшаника. Не останавливаясь, Хведор взбежал на него — толстый пласт мха угрожающе осел под ногами, и они по колени ушли в черную хлюпкую грязь. Лезть дальше, наверно, было безумием, но что теперь было не безумием? Впереди трепетали на ветру жухлые кисти камышовых зарослей, за ними высились пышно разросшиеся кусты лозняка и ольшаника, среди зеленых кочек тускло поблескивали черные окна бочажин. Отчаянным усилием выдирая из топи ставшие пудовыми постолы, Хведор пробирался все дальше. Скоро погрузился по пояс и, раздвигая телом плотный слой ряски, достиг крайних, поросших аиром кочек. Некоторое время под ногами была какая-то опора — перебитое корневищами дно, но вот дно круто ушло в глубину, и он будто свалился с обрыва — шастнул с головой в мутную холодную бездну. Тут же, однако, вынырнул, потеряв шапку, и, чтобы не захлебнуться в вонючей жиже, ухватился рукой за осклизлый, тянувшийся с кочки корень. Тот не дал ему совсем погрузиться в воду, все-таки голова осталась на поверхности, и Хведор судорожно, жадно дышал.

За мшаником в лесу приглушенно звучали голоса, басисто лаяла собака — должно быть, загонщики сошлись в одном месте и остановились. Кажется, они потеряли его или, может, не захотели лезть за ним в холодную смрадную топь. До слуха отчетливо доносилось: «Здесь где-то бег...» — «Там он, в болоте». — «Гляди ты, куда сунулся!» — «Вылезет, никуда не денется, кулацкая морда!»

«Нет уж, не вылезу!» — в озлобленном отчаянии сказал себе Хведор, невольным движением тела колыхнув рванный слой ряски. Он все сидел по шею в воде, скрытый от берега камышом и кочкарником, а те, на берегу, видно, боясь трясину, даже не приближались к бочажине.

Да и он, бывало, когда-то со страхом смотрел туда на обсаженное кочками, заросшее лозняком болото, ощущая почти суеверный страх при одном только приближении к нему. Теперь он сидел в нем спокойно и ждал. От холода деревенели конечности, внутри у него все сжалось в тугой болезненный узел. Он медлил. Но, видно, долго медлить ему не придется, все скоро кончится. Тяжелая суконная свитка на плечах настойчиво тянула его вниз, пудовые постолы влекли в бездонную глубину бочажины. Видно, все-таки ему не хватало решимости выпустить из рук осклизлый лозовый корень и тихо уйти в другой мир. Словно бы он на что-то надеялся и часто, прерывисто дышал, как рыба, выброшенная на песок.

— Ровба, вылазь! — раздалось близко, за камышами.

— Вылазь по-хорошему!

— Гражданин Ровба, от имени советской власти предлагаю сдаться...

Они там кричали, а он не очень и слушал их. Выбраться отсюда не было сил, да и желания тоже.

— Что-то не видать тут...

— Да там он! Вон след в тростнике...

«О люди, люди! За что же вы так! Люди...» — неизвестно к кому взывал в душе Хведор.

Однако они уже лезут. Хведор немного подвинулся к воде, снова качнув вокруг ряску, и повернул голову. Высоко поднимая ноги в прибрежной осоке, двое осторожно приближались к его бочажине. В руках у одного был длинный и тонкий шест — уж не собираются ли они ширять им в кустарнике, подумал Хведор. Отсюда он хорошо видел их, это были незнакомые парни, наверно, комсомольцы из района. Где-то за кустами неподалеку, лениво подавала голос собака, но в трясину, кажется, ее не пускали.

— Дальше не сунешься!

— Давай, давай! Еще можно, — слышалось чуть в стороне, и от этих слов у Хведора сразу перехватило дыхание.

Он узнал этот голос — он узнал бы его и на том свете, потому что это был голос сына. Бедный Миколка, вдруг подумал Хведор, и ему лезть сюда! Однако, видать, не от сладкой жизни, наверно, заставили...

Те двое с шестом, кажется, потеряв беглеца, свернули немного в сторону, к самой чаще лозняка, решив, что он там. Но он не был ни там, ни здесь — он здесь почти уже не присутствовал. Ему оставалось совсем немного — разве что взглянуть и проститься. Как только увидит сына, так и уйдет. На этом свете делать ему уже нечего.

Парни вовсю орудовали шестом в лозовых зарослях, а Миколка не появлялся. Бедный Миколка, что он переживает теперь, думал Хведор. Наверно, не по своей воле — заставили. Может, ему приказали? Какой-нибудь начальник повыше. Потому что, наверное, есть и над ним начальник. И послали его на поимку отца, от которого он отрекся. Если отрекся, то можно, видно, и ловить. Но если такое возможно, то как тогда жить? И для чего жить? Нет, жить на этом свете ему невозможно.

— Лешук, вон туда пырاني!

Это — тоже Миколка, откуда-то издали твердым начальственным голосом, которого не знал прежде Хведор.

Такой его голос он слышал впервые, и каждый его звук болезненным ударом бил в самое сердце. Счастливая Ганулька, она уже не увидит такого. И не услышит.

Тем временем зашуршало в соседнем лозовом кусте — конец тонкой палки насквозь пропорол густую листву. Значит, наступил черед и его кочки. Но, должно быть, они не успеют, он опередит их. Хведор зачем-то вздохнул всей грудью и выпустил из рук узловатый корень. Тяжелые ноги в неистовых постолах сразу по-

влекли его в бездну бочажины, и он захлебнулся. Изнутри почему-то больно ударило в уши, в глазах все померкло.

Не дано было жить тихо, так хоть тихо умер.

Искали его долго, тыкали шестами в кусты и кочки, шарили в камышах у берега. Да так и не нашли.

Авторизованный перевод с белорусского
ВАЛЕНТИНА ТАРАСА

СВОИ ПРОТИВ СВОИХ

Новая повесть Василя Быкова: середина тридцатых, белорусская деревня, мирная жизнь.

Впервые у этого писателя после давних рассказов пятидесятих годов — мирная жизнь, одна она, даже странно, что такое возможно. Казалось, героям Быкова не суждено расстаться с войной — наяву или в воспоминаниях, а тут до нее еще далеко, и даже догадки о ней нет, и этот-то герой — белорусский крестьянин Федор Ровба — закончит свои дни без ее помощи. В своей постели, — хотелось бы добавить, — все-таки мирная жизнь, никакой стрельбы, да не добавляется.

Да и что значит «мирная», если для ее изображения годится, — и это станет очевидным с первых страниц повести — испытанная поэтика быковской фронтовой и партизанской прозы. Знакомое тревожное, опасное пространство, которое нужно преодолеть, ускользающее, словно отнятое кем-то безжалостным время, сжимающееся кольцо беспощадных обстоятельств... И одинокий человек — в том пространстве, в том кольце.

Если не знать, не чувствовать, о каких временах речь, то можно подумать, что этот человек, пробирающийся лесными дорогами, двойник партизанки Зоси Нарейко («Пойти и не вернуться») или подпольщика Суцени («В тумане»). Но передумывается быстро: другая реальность заполняет душу Федора Ровбы, другая враждебная сила гонит его...

Человек, противостоящий превосходящим силам, неизбежно приобретает черты героя и страдальца. Остается узнать, каковы превосходящие силы, какое над ними развевается знамя и кто этот гонимый, преследуемый человек? Может, нас призывают держать несправедливую сторону и жалеть преступника? Может быть, сюжетные схемы войны, спроецированные на мирную, цветущую действительность, оскорбительны для нее, неисполненной доброты и покоя?

А что? — преступник и есть. Раз сбежал из мест заключения, — кто же еще? И превосходящие силы превосходят его законно: это же действует наше родное государство, его мудрая, справедливая, умиротворяющая сила, которой советские люди доверились полностью и абсолютно...

Вот и Федор Ровба когда-то доверился. Он считал, что революция произошла для того, чтобы трудящийся человек жил хорошо. Он попробовал жить хорошо и даже приобрел молотилку. (Помните, у Василя Белова в «Канунах», приблизительно в то же самое историческое время молодой крестьянин принимается строить мельницу, и что из этого вышло?) Федор Ровба стал отличаться от других молотилкой, и это его погубило. Нетрудовые доходы, эксплуататор... Поди объясняй каждому, что молотилка взята в кредит, что люди платят, кто сколько может, по доброй воле...

По Быкову, механизм несчастья буднично прост. Один позавидовал, и другой позавидовал... Вот ты и кулак, Ровба. Но писатель ясно видит, что простота механизма кажущаяся. Не доносы и кляузы определяют большую политику. Большая политика оказывается заботливой попечительницей и заказчицей самого низкого из письменных жанров. Низость отзывается на низость, и низость с низостью взаимодействуют. Большая политика словно бы отказывается от прежней идеи, чтобы трудящийся человек жил тем лучше, чем больше трудится. Она хочет, чтобы люди были одинакового роста, как трава на газоне, а газон, как известно, нужно время от времени стричь.

Старый местечковый еврей Ноэм по-дружески скажет Ровбе: «...бросай все, бери детей в охапку и утикай. Куда? Не важно куда — куда глаза глядят. Потом поздно будет...»

Старые люди предчувствуют непогоду. У них ломит кости. А что ломит, что болит, когда приближается политическое ненастье? Когда каменеют и свирепеют слова газет? Душа? Ум? Сама мысль?

Но как все кинуть? А земля, хозяйство, односельчане, родня? Корни же тут, родина. Невозможно.

Хорошо, тогда тебя вырвут с корнем. И отрясут землю. И — выбросят.

И — выбросили. И не должен был он подняться и вернуться, а вот попробовал...

Облава, или Возвращение Ровбы... Но разве своих проведешь, разве от них укроешься? «Гражданин Ровба!..» — торжествующе закричит облава.— «Ровба, вылазь!»

Где же оно, родство соплеменных душ? Где родина-мать, склонившаяся над своим гонимым, измученным, униженным сыном? Или родина — всего лишь знакомый с детства лес, дающий последнее укрытие, и осеннее поле, где можно отыскать несколько картофелин?

«Человек бы не убегал от людей, он бы что-то им сказал, и его бы выслушали». Значит, скажет Быков, он уже не человек. Он убегает, и он молчит. Он словно расчеловечился.

Нет, добавил бы я, его расчеловечили. Его постарались расчеловечить.

Возникает вопрос: кто?

Разумеется, свои.

Но вот вопрос: сѣди-то — кто? И до какой черты, отбрасывая все законы человечности, можно оставаться, считаться «своим»? Своим — кому? Кто они, от кого прячется на родной земле Федор Ровба? Кто они, лишившие его всего, из чего состояла его жизнь?

Тем тягостнее и ужаснее вопрос, что среди голосов облавы и голос его сына, благополучно отказавшегося от отца. Разрушено само естество жизни, ничего не оставлено для надежды, и впервые о герое Быкова нельзя сказать: он выстоял. Выстаивать больше нет смысла. Во имя высшего смысла государства у человека отнят последний смысл его присутствия здесь. Если это «свои», то он им — «не свой» и умрет как «не свой». Он им не дастся.

У Федора Ровбы была последняя мечта: «...дойти, хоть доползти, чтобы хоть одним глазом взглянуть и умереть». Взглянуть на дом, где он, бывший батрак, был счастлив, на весь родной окрестный мир... Ничего другого он не желал, ни на что другое не надеялся...

Меняются времена, и кто-то спешит им соответствовать... Василию Быкову незачем ни спешить, ни соответствовать... Его трагический герой был необходим обществу вчера, он, не меньше, чем вчера, необходим ему сегодня. Я не берусь настаивать на этом, у каждого свои пристрастия, но правде переменчивой, зависящей от политической погоды, я предпочитаю правду надежную, быковскую, не перестававшую быть правдой в любые хмурые или светлые времена...

Игорь ДЕДКОВ

Михаил Николаевич Алексеев

РЫЖОНКА

Ностальгическая повесть

Василий Владимирович Быков

ОБЛАВА

Повесть

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ,
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор С. Гладкова

© Иллюстрации художника В. Сафронова

Художественный редактор А. Моисеев

Технический редактор Н. Кошелева

Корректоры О. Наренкова и О. Добромыслова

© Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 24.04.91. Подписано в печать 23.05.91. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 10,8. Тираж 2 716 000 экз. (1-й завод 1—2 216 000 экз.) Заказ 709. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати, 142300, г. Чехов Московской обл.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ПОДПИСЧИКИ! НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Новые обстоятельства — повышенные цены на бумагу, на распространение журнала, его перевозку, полиграфические работы, другие непредвиденные и необходимые расходы продиктовали новую подписную цену.

Один номер журнала в 1992 году будет стоить 2 рубля. В розничной продаже 3—4 рубля. Годовая подписка, с помощью читательского фонда поддержки и при содействии учредителей, устанавливается на минимально возможном для выпуска журнала уровне 24 рубля в полгода и 48 рублей за год.

Мы понимаем трудности нашей сегодняшней жизни и все же надеемся сохранить своих самых надежных подписчиков, многие из которых объединятся, чтобы сделать групповую подписку на работе, в учебной группе, воинской части, с соседями по квартире.

Мы надеемся сохранить наших постоянных подписчиков, ветеранов, пенсионеров, жителей далеких поселков и сел, мы рассчитываем на возможности молодых, их изобретательность и предприимчивость в приобретении средств, часть из которых они используют для подписки на «Роман-газету». Мы думаем, что ответственные администраторы предприятий, заботливые руководители профсоюзов, сохранившие уважение к отечественной культуре, молодежные вожаки найдут средства, чтобы отметить добросовестных и трудолюбивых работников своих организаций, заводов, хозяйств подпиской на «Роман-газету».

Мы обращаемся к бумажникам с просьбой обеспечить народный журнал бумагой по доступной цене.

Мы будем вместе с вами искать пути к понижению цены в будущем выпуске дополнительных номеров, отдельных книг-приложений и делать все, чтобы «Роман-газета» была вашим постоянным спутником.

РОМАН-ГАЗЕТА—92

В начале года редакция получала более 1000 писем в день. Шел традиционный совет с читателями. Итоги его подведены. Исторические и социально-психологические романы, современная фантастика и зарубежный детектив — вот тот широкий диапазон интереса нашей читательской аудитории. Кроме того, **ВПЕРВЫЕ** в план включены произведения авторов Русского Зарубежья, широко известных мировой общественности, но не известных на родине.

При значительном повышении цен на все периодические издания «Роман-газета» нашла возможность сохранить прежнюю цену. Но, к нашему великому сожалению, цены на бумагу, полиграфические услуги и доставку снова растут. Поэтому мы вынуждены предупредить читателей, что произведения, отмеченные «звездочкой» (*), мы сможем издать, если финансовые возможности журнала позволят это сделать.

I ПОЛУГОДИЕ

СОЛЖЕНИЦЫН А. Август Четырнадцатого. Роман (Заключительная часть).

Катастрофа в Восточной Пруссии, поражение армии генерала Самсонова и его самоубийство, деятельность Столыпина и хроника его убийства — эти события начала XX века, существенно повлиявшие на ход истории нашей страны, освещены знаменитым писателем на основании подлинных документов.

БОНДАРЕВ Ю. Испытание. Роман.

Беспощадно и непримиримо действуют силы растления и зла в эпоху всеобщего экологического и политического кризиса. В своем новом романе известный писатель Ю. Бондарев ставит вопрос о высокой нравственной ответственности каждого за происходящее.

УСПЕНСКИЙ В. Тайный советник вождя. Роман-исповедь. Книга третья.

Свидетель непростых взаимоотношений Сталина с исто-

рическими деятелями и членами семьи, уже хорошо знакомый читателям тайный советник вождя в третьей книге с неожиданной стороны освещает многие события и факты Великой Отечественной войны.

ФЕДОРОВА Н. Семья. Роман.

Переведенный на многие языки мира, удостоенный международных премий, роман «Семья» **ВПЕРВЫЕ** станет доступен столь широкому кругу читателей. Ностальгия по Родине, истинность переживаний, образный язык сделали этот роман одним из самых искренних и значительных произведений Русского Зарубежья.

ГАНИЧЕВ В. Флотовождь (Адмирал Ушаков). Историческое повествование.

Он не боялся сказать «нет» и не стыдился сказать «не могу», он занимал свое место с достоинством. Человек, способный творчески мыслить и не способный лукавить, человек вдохновенный, он беззаветно служил своему народу и

Отечеству и выиграл все сорок сражений, в которых принимал участие.

Таким был адмирал Ушаков, о котором рассказано в романе В. Ганичева. Созданию произведения предшествовала долгая работа автора в отечественных и зарубежных архивах.

МУРАВЬЕВ П. Полюс Лорда. Роман.

Остросюжетный, написанный в современной манере, роман «Полюс Лорда» сочетает в себе традиции отечественной и западной литературы. Напряженный сюжет, глубокий психологизм выводят роман П. Муравьева в ряд наиболее заметных произведений современности. Советские читатели ВПЕРВЫЕ встретятся с творчеством одного из интереснейших писателей Русского Зарубежья.

РЫБАКОВ А. Страх. Роман. Книга вторая романа «Тридцать пятый и другие годы».

Страх перед возможностью оказаться жертвами массовых репрессий не покидает героев нового произведения А. Рыбакова. Читатель узнает продолжение событий и непростых судеб, описанных в романе «Тридцать пятый и другие годы».

II ПОЛУГОДИЕ

ПИКУЛЬ В. Барбаросса. Роман.

Свыше 500 историко-архивных документов, монографий, воспоминаний использовано В. С. Пикулем при работе над книгой о величайшем сражении XX века — Сталинградской битве. «Барбаросса» — последнее произведение В. С. Пикуля — занимает особое место в его творчестве.

СОВРЕМЕННАЯ ФАНТАСТИКА (МИХЕЕНКОВ С. Пречистое Поле. ПИЩЕНКО В. Замок Ужаса.).

Фантастический прием, примененный С. Михеенковым в повести «Пречистое Поле», помогает лучше осмыслить происходящее в стране, особенно на селе, осознать необходимость духовной преемственности поколений, моральной ответственности живущих ныне как за настоящее, так и за будущее своих соотечественников.

Остросюжетный фантастический детектив «Замок Ужаса» позволит читателю заглянуть в будущее и совершить путешествие в далекое прошлое — в таинственный VI век.

ВОЛКОВ О. Два стольных града (Москва. Петербург).

Почти тридцатилетнее политическое заключение явилось причиной того, что О. В. Волков (год рождения писателя — 1900) лишь недавно приобрел широкую известность. Ныне его книга «Погружение во тьму» — одна из популярнейших и любимейших читателями.

Новое произведение О. В. Волкова — это увлекательный рассказ об истории двух главных городов России, об их величии и красоте, о замечательных архитекторах и исторических деятелях.

«Как работа на лесоповале открыла мне всю беззащитность матери-природы перед злой и невежественной силой, — пишет автор, — так и обретенная возможность жить в Москве поразила — будто даже целенаправленным — уничтожением той красоты, что делала Москву неповторимой! Я надеялся, что очерки об «оставшихся в живых» архитектурных памятниках Москвы помогут их сохранить...»

Рассказывая о Москве, я постоянно возвращался к воспоминаниям о своем родном городе — Санкт-Петербурге, где я родился и жил до 17 года. Я стал писать о нем, о жизни в дореволюционном стольном граде...

Может быть, эти очерки побудят кого-то встать на защиту нашего достояния...»

БАЛАШОВ Д. Святая Русь. Роман. Часть первая («Степной пролог») и часть вторая («Митрополичий престол»).

Уходят с исторической арены личности, могущественно содействовавшие созданию государства Московского: митрополит Алексей, Сергей Радонежский, Дмитрий Донской. Маленькое окраинное княжество Владимирской Руси все больше набирает силу, крепнет в борьбе. «Святая Русь» —

ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ (Д. Х. ЧЕЙЗ. Перстень Борджа. А. КРИСТИ. Рассказы).

«Ограбление на миллион долларов», «Тайна голубой вазы», «Тайна египетской гробницы» — знакомство с этими и другими рассказами будет ОТКРЫТИЕМ для многих читателей, поскольку А. Кристи известна в нашей стране, прежде всего как автор детективных повестей и романов.

«Крутой детектив» — так многие критики определяют жанр произведений популярного во многих странах мира писателя Д. Х. Чейза.

Увлекательный сюжет, внимание мастера детективной интриги к психологическим и социальным деталям — характерные особенности его авторского почерка, поэтому ни на миг не ослабевает напряженное внимание читателя повести «Перстень Борджа».

*** КАЛИНИН А. Цыган. Роман. Часть седьмая восьмая.**

Заключительные главы известного романа, главным героем которого является цыган Будулай.

заключительный роман серии «Государи Московские» — освещает этап развития Московского государства, получившего самостоятельность.

МИР-ХАЙДАРОВ Р. Пешие прогулки. Роман.

Преступление подпольного бизнеса и коррупции в Узбекистане — предмет исследования в романе, в основу которого положены подлинные события.

*** КРЮКОВ Ф. Казачка. Рассказы. ЗАЗУБРИН В. Щепка. Повесть.**

После долгих лет умолчания широкому читателю возвращаются имена Ф. Крюкова и В. Зазубрина.

О событиях 1919 года, о произволе чекистов рассказывает В. Зазубрин, участник гражданской войны сначала в армии Колчака, а затем в рядах красных партизан. Автор повести «Щепка» погиб в 1938 году, став жертвой механизма, действие которого предсказал.

Кто же истинный автор «Тихого Дона»? Участник белоказацкого движения в 1918—1920 годах Ф. Крюков или известный советский писатель М. Шолохов? Ответ на вопрос читатели найдут на страницах этого номера журнала.

*** ПОВЕСТИ (ПЕТРОВ М. Жизнеописание Дмитрия Шелехова и другие повести).**

Повесть М. Петрова — о подвижнике земли русской Дмитрии Потаповиче Шелехове, отдавшем все свои незаурядные способности и душевные силы преобразованию Родины, гармоническому развитию народного хозяйства. В своих устремлениях и делах Шелехов опирался на народную предприимчивость, ум, природную сметливость и нравственную стойкость простых русских людей, на вековые традиции соотечественников.

*** МАМОНТОВ С. Походы и кони. Повествование о гражданской войне.**

С. Мамонтов возвращает нас в эпоху революции и беспощадной войны. Он восстанавливает все случившееся с юнкером, прапорщиком, потом поручиком Мамонтовым в 1917—1920 гг. Чудесный дар рассказчика, поразительная свежесть, искренность превращают в захватывающее чтение записи о походах по дорогам России, о боях и буднях русских солдат и офицеров, оказавшихся по другую сторону баррикад.

«Я хотел изобразить все, как оно было на самом деле, хорошее и плохое, стараясь не преувеличивать, не врать и оставаться беспристрастным. Это очень трудно. Невольно кажется: все, что делали мы, — хорошо; все, что делали они, — плохо». В этих словах С. Мамонтова выражена его искренность, и это делает «Походы и кони» увлекательной книгой и примечательным документом. Публикуется в нашей стране ВПЕРВЫЕ.



Василий Владимирович Быков родился в 1924 году на Витебщине в крестьянской семье. Учился в средней школе, Витебском художественном училище. В начале Великой Отечественной войны добровольно вступил в ряды Советской Армии. После окончания Саратовского пехотного училища принимал участие в боях на юге Украины, на Балканах. Войну закончил в Австрии. Был дважды ранен.

После войны еще около десяти лет служил в армии — на Украине, в Белоруссии, на Дальнем Востоке. После демобилизации продолжительное время жил в Гродно, где работал в редакции областной газеты.

Литературным творчеством В. Быков занялся в конце пятидесятих годов. Им написано около двух десятков повестей преимущественно на темы прошлой войны. Из них особенно известны: «Третья ракета» (1962), «Альпийская баллада» (1964), «Мертвым не больно» (1966), «Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1970), «Дожить до рассвета» (1973), «Знак беды» (1982), «Карьер» (1986).

В последнее время вниманием писателя все больше овладевает тема драматических тридцатых годов. Повесть «Облава» относится именно к таким произведениям.

Василь Быков лауреат Государственной и Ленинской премий, народный депутат СССР, Герой Социалистического Труда. Живет в Минске.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ. Юрий БОНДАРЕВ. Семен БОРЗУНОВ. Витаутас БУБНИС. Олег ВОЛКОВ. Геннадий ГОЦ. Юрий ГРИБОВ. Владимир ГУСЕВ. Владимир ДУДИНЦЕВ. Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь). Сергей ЗАЛЫГИН. Феликс КУЗНЕЦОВ. Леонид ЛЕОНОВ. Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора). Василий НОВИКОВ. Петр ПРОСКУРИН. Валентин РАСПУТИН. Леонид ФРОЛОВ.

1 р. 10 к.

5-112

РОМАН-16 ГАЗЕТА

70782

В семнадцатом и восемнадцатом номерах
«Роман-газеты»
читайте вторую книгу произведения
Дмитрия Волкогонова
«ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ»
(Политический портрет И. В. Сталина)

